

Сказы Заброшенных Застав

Жанр произведения: Проза

Произведение написал автор BookBox Александр Бережной
Ссылка на публикацию

Ветер гулял-погуливал в жаркой летней ночи.

Разносил по степи дух да полынь.

Дух – горький, как старая память, а полынь – терпкая, как сама молодость, что ушла.

Ветер словно перебирал травы: вот чабрец пахнул, напоминая о доме, оставленном где-то за спиной лет, - да не повернёшься, не взглянешь. Потом мяту подбросит, да гарью от костра – знакомой, смачной, домашней.

Пригляделся.

Среди старых крепостных развалин огонёк пылает.

Пляшет он, неугомонный, светлые тени на камни кидает, до самого звёздного неба языками лижет – дотянуться хочет.

Не дотянуться.

Да огонь не сдаётся: горел так вчера, горит сегодня, и завтра будет гореть, пока последний уголёк в золу не превратится.

А возле огня – народ собрался.

Кто у котла хлопочет, кашу заваривает.

Кто на валуне примостился.

А кто и в тени притаился – только глаза горят, будто у степного волка.

Ветер и присмирел от удивления – невидаль такая!

Странная компания – и не разобрать, кто такие и откуда.

Запела где-то гитара, тоскливо, по-чужому.

Присел Ветер на корточки, слушает: о чём это они в ночи летней беседу ведут?

- Плох тот атаман, что не скачет впереди своих людей да на вражьи пушки. - пробасил мужик, что у огня сидел, да к котлу не притрагивался.

Года ему дашь под семьдесят.

Лицо – в морщинах, будто осенняя дорога после обоза.

Не то чтоб дряхлый – кряжистый, прочный, словно старый дубняк, что в землю врос. И осанка в нём – былая выправка чувствуется, плечи колесом, спина – в струнку.

- Расскажи сказку, дед Свирид, расскажи. – закивал мальчуган, что сидел чуть поодаль.

Одет мальчишка был побогаче собравшихся, да и годился многим из них не то что в дети – скорей во внуки-правнику.

Усмехнулся дед Свирид не губами – одними глазами, светлыми, как глина в обрыве. Взглянул на мальца из-под бровей густых, ещё с проседью:

- Это у вас, молодой княжич, там сказки разные, о тишине, о Конраде из Долиной Тимьянной, о волках и зверях иных, что голосами людскими молвить могут. У меня же сказы – про людей наших, про землю нашу, про царя, про панов, про правду да волю.

- Дед Свирид… - опять протянул мальчуган.

Попыхтел старик трубкой.

Усы у него – седые, пышные, по-старинному вниз опущены. Борода – лопатой, хоть и пообтёрлась на ветрах.

- Что ж – слушай, молодой княжич, да памятуй: что мудрого – в закром души клади, пригодится. А что пустое – мимо ушей пропускай, словно ветер степной…

И пошёл дед Свирид сказы сказывать.

А внизу, в плавнях, шумел камыш, да вода о берег билась, подпевала.

СКАЗЫ ДЕДА СВИРИДА

Сказ о вольных людях

Дам я, княжич молодой, правду коренную, что от прадедовы мои в ухо шептали. Было то в стародавние годы, когда земля наша стоном стонала под сапожищем царей-королей, панов-ляхов да своих же, продажных душегубов.

Жил тогда на свете один Хлопец. Не царь, не князь – Вольный Хлопец. Дух в нём горел, как пламя в бурю, - не укротить, не затушить. На управителей мира да владелей душ людских глядел – не робел.

Проведали про того Вольного Хлопца цари да короли.

Задрожали.

«Як так?! Один – и не боится? Воли нашей не признаёт?» Решили его извести, как волка в степи затравить. Схватили слуги царские, кинули в каменный мешок, в темницу, где сырость со стен течёт. «Нехай, - мнилось им, - камень силу его высосет, холод сердце заморозит, темнота очи ослепит, а там и сам Смерти в объятия запросится».

А Вольный Хлопец за стенами – не гас. От холода – ещё жарче пылало его сердце. В темноте – светлее думы про волю становились.

Пуще того озверели цари-короли.

Сослали Вольного Хлопца на самый край земли, в снега студёные, куда и солнце – редкий гость. Мнили им – сломится. А он пришёл, оглядел белое безмолвие да и говорит людям унылым: «А здесь, братцы, добре! Воля тут – как воздух, чистая!» И зажёг в них ту же искру. Стали они жить-поживать, будто солнце незакатное средь них поселилось.

Видят цари-короли – не берёт его ни тюрьма, ни ссылка. Собрали тогда змей подколодных, гадюк ядовитых, шепчет им: «Повзите, ужальте Вольного Хлопца, обескровьте его, а мы Смерть покличем, чтоб забрала она уже его с собой».

Отравили гады склизкие Хлопца Вольного.

А тут и Смерть явилася.

Хлопца Вольного узнала – не раз видились.

- Помоги мне, Смерть-Смертушку. Честь окажи последнюю. – сказал Хлопец Вольный. – Разнеси огонь, что в груди моей пылают по миру, - людям добрым на подмогу, а дурным на погибель.

Промолчала Смерть да просьбу выполнила.

И пошли от того огня мы, люди вольные.

Вот потому, молодой княжич, и скачем мы по степи да не кланяясь ни царю, ни паше – Смерть нам за матерь, а Хлопец Вольный за батюшку.

И пока огонь этот в сердце живёт – никто над нами, людьми вольными, власти не имеет.

Сказ о ведьме

Было это, молодой княжич, давно.

В лихую годину, когда степь нашу топтали вражь кони.

Пришла пора и Ивану землю родную защищать.

Стал он в поход готовиться, что назавтра был назначен.

А как ночь настала, да все заснули, зажгла Марийка, жена его, светец одинокий, достала холстину тонкую, что сама на станке выткала. И взяла в руки ножницы – косу свою, девичью красу, густую, русую, отрезала да принялась вышивать. Не узоры затейливые, а оберег древний, знаками, что ещё прабабки её помнили. Вплетала каждый волос с молитвой шёпотной, с тоской такой, что и камень бы заплакал. Всю свою силу девичью, всю любовь безграничную, всю тоску в ту сорочицу вложила.

- Носи, - шептала, - милый друг, на самом теле, под рубахой. Пусть бережёт тебя от лиха всякого.

Ушёл Иван поход и осталась у него в курене молодая Марийка. Провожала его молча. Слёз на люди не показывала.

Бились люди вольные со степняками чёрными.

Да смогли напасть отогнать.

Вернулся Иван, наконец, в родную станицу.

Весь в шрамах да в пыли степной.

Вошёл в курень.

Стал снимать рубаху походную, а под ней… та самая, сорочица, волосами вышитая, шёпотком заклятая – посерела, измочаленна, исполосована, как земля после сохи, изрублена, будто щит в самой сече лютой.

Обняла Марийка мужа, своего вернувшегося, шрамами обросшего, но всё ж выжившего.

А всё оттого, молодой княжич, что все бабы – как есть ведьмы да не все в том сознаются.

Сказ о том, как царь вольным людям море заповедовал

Было это, княжич молодой, ещё при царе Петре Алексеиче, государе могучем, да на людей вольных косо глядевшем. Разгневался он на людей наших, на вольных.

И стал гонять он нас как пыль степную буря.

Да не таковы вольные люди чтоб их ветер гонял по степи – пошли они к синему морю-кормильцу да скрылись в волнах от полков царевых. Не угнаться не достать людей вольных под парусами белыми по морю ходящих.

Царь, проведав про то, вскипел, будто котел медный на сильном огне. Не стерпел, что рука его государева до нас, по волнам бегущих, не дотянулась.

Вышел он на крутой яр морский – такую круть, что и орел с разлету не свернёт. Снял с перста своего перстень тяжкий – печать-то самую царскую. Поднял высоко, да так, чтоб солнце в нём заиграло, и грянул на всю морскую ширь, громоподобно:

- Слухайте вы, люди вольные! Отныне и до века заповедь даю: покеда сия печать моя с морской пучины не всплывёт – вам по сему морю не ходить под

парусами своими белым! Море для вас – заказано! А кто ослушается – так тот изменник Родины есть.

Бросил он печать в самую сердцевину волны, где пучина самая чёрная. Плюнула пучина, приняла царский дар, да и затихла.

Навеки.

А люди вольные с моря на всё глядевши, думу горькую думали.

Глаза у стариков, что видали и лихо, и долю, потухли: как же без моря-кормильца? Рыбы не добыть, на «чайках» не погулять? Кончина вольнице славное…

Да не перевелся ещё на земле нашей человек с умом хитрым да с волей крепкой. Вышел на круг Савелий, по прозвищу Хитроум. Встал в середине, глазами, ястребиными, всех оглядел:

- Братцы! Царь молвил: «Не ходить!». А он – слово держит, железное. Так не будем же ходить!

Мы на него смотрим, диву даёмся: с ума, что ли, спятил? А он усмехается, будто кот сытый:

- Ходить не будем, а ползать – будем! Царь про «ходить» говорил, а про «ползать» - ни полслова!

Так и положили на кругу.

Сшили мы паруса не из белого царского полотна, а из холста серого, буднишного. И не ставим их на мачты, а прячем на дно лодки, про чёрный день. Гребли вёслами, тихо-тихо, под самый шёпот волны, чтобы и чайка морская не слыхала.

Море-то бороздили, не ходя по нему, а ползая, утробой его чувствуя, как жуки водяные.

И ушла царская воля – ко дну морскому, во тьму. А смекалка людей вольных – по верху, на солнышке ясном да на ветру добром.

Ходим… то есть – ползаем, по морю и посейчас.

А печать та… лежит она, слыхать, в хоромах у морского царя, на самом дне. Пущай себе лежит, греет пучину.

Вот те и весь сказ, княжич молодой.

Не нарушили мы заповеди царёвой. Букву её – соблюли до точки, но и душу свою вольную – сберегли в целости.

Сказ о двух братья

Шёл раз Андрий Шепель, из наших, из вольных людей, из степных.

С дальней заставы шёл Андрий.

Не сам шёл.

Конный, оружный.

А навстречу ему, из теснины каменной, где орлы гнездятся, Аслан выезжал – горец, из тех, с которыми давно уж мира не было.

Сошлись они у камня межевого.

Взгляд встретился со взглядом – и рука у каждого сама к шашке легла, по привычке вековой. И застыли, как два изваяния.

А шашки-то у них, глядь-погляди, - словно с одного коваля вышли: клинки булатные, синевой отливают, рукояти – из рога тура горного, обвиты серебром. И одеты оба по-воински: черкески, хоть и разного сукна, кинжалы за поясом. Стоят, меряют друг друга молча. И вдруг усмешка тронула губы Андрия, суровые, в трещинах, как земля в засуху:

- Прямо как два брата одной матери да бедой разлучённые, людьми разными взращённые.

- Так и есть. – отозвался Аслан, и суровость с лица его, будто лёд весенний, тронулась.

Слезли они с коней, не спеша, подошли друг к другу – и обнялись крепко, по-мужски, так что кости хрустнули. Ни клятв, ни обетов кровных не давали – к чему они, когда душа с душой говорит на одном языке, без слов? Только обменялись тем, что для воина дороже жизни и чести: Андрий Аслану свой кинжал отцовский протянул, с рукоятью из ореха, а Аслан Андрию – свою шашку дедову, с именем на клинке, что вязью выведено было.

Испили воды из одного бурдюка, тронулись в путь – каждый в дом свой.

Но был у них уговор такой, без слов, без послов, без записей.

Раз в год, в ту самую ночь, когда спадает летняя жара и с вершин первая прохлада, словно стадо белых овец, в долины спускается, встречались у камня того межевого, что стоял на кургане, поросшем полынью да чабрецом.

И пошла от той дружбы тропа.

Не широкая, как царская дорога, а узенькая, как след оленя в горах. Но – крепкая, нерушимая, как слово вольного человека.

По ней шло уважение меж степной станицей и горской саклей.

Не всегда лад был между народами степей и горд, бывало, туча чёрная налетала, сабли звенели, кровь лилась. Но не зарастала та тропа, потому как проложили её не князья и не генералы, а два воина на перепутье, узнавшие в лице чужом – брата.

Так и живут они, молодой княжич, и доныне.

Сказ о том, как шиш степной умаялся

Было это, княжич молодой, не то что бы недавно да и не давно то было.

Стоял в дозоре Василь Бокон у кордона.

Ночь – светла, что день. Звёзды-зорницы над головой горят россыпью ясной, а под ногами – шелест ковыля да незнамо что.

Стоит человек вольный Василь бережно.

Глядь Василь – а впереди, над самым обрывом, огонёк манит. То вспыхнет, то погаснет, то в сторону уведёт, будто говорит: «Иди сюды, мол, тут тропа протоптана». А Василь знает – нет там тропы! Яр глубокий, пропасть.

Понял он: то не огонёк, а шиш.

Шиш - он не черт, не из печной трубы, как иные молвят. Он – дитя степи пустой. Родится от скуки да от марева солёного, когда на сто вёрст ни души человеческой. Дело его – людей с пути сбивать, коней пугать, в блудящие огни превращаться. Сила не святая, да и не грешная особо – степная она, вольная, до ветра хитрая.

Вспомнил Василь науку дедову: шашкой шиша степного не взять – обозлишь только, бранным словом не пронять – себе же хуже. С ним надо, как с лихим, но глупым соседом: без страха, да и без поноровки лишней. Да правду свою держать крепко.

Подошёл Василь к огоньку:

- Гляжу скучно тебе, браток, в степи? Дела, видать, у тебя никакого? Вот и маешься.

Огонёк замедлился, будто прислушался.

Достал Василь люльку, раскурил не спеша.

Говорит снова:

- Подь-ка сюды, братец, поболтаем коль не спится.

И вышел из тьмы не страшилище рогатое, а так… недотёпа седой, не то старичок, не то перекати-поле клубом… недоразумение одно – шиш степной.

- А что с тобой болтать, вольный ты человечек? Ты шашкой меня оприходуешь иль браниться станешь.

- Делать мне нечего. – усмехнулся Василь, сощурился. – И ты, поди, от нечего делать маешься. Так давай, дело соорудим – всё ж веселее ночь покажется.

- Какое дело? – заинтересовался шиш, а сам поближе подкрадается.

- А вот, гляди, - место тут ладное, пригорок. А воды нет. Выкопай-ка мне колодец. Да не абы-как, а чтоб водица студёная, целебная была.

Фыркнул шиш, но делать нечего – скука его, как ржавчина, точила. Завертелся на месте, засвистел, поднял вихрь сухой – смотри-ка, а колодец уже стоит, сруб липовый, а в нём вода так и звенит, серебром переливается.

Умылся Василь, напился.

- Ну, спасибо. А теперь, брат, будь другом, хату-мазанку мне состой.

Заскрипел шиш да взялся – правда ведь делать нечего, от скуки маялся. Стоит новая хатка-мазанка, под соломенной крышей, с голубцами да ставнями резными. Загляденье.

- Вот теперь славно. - говорит Василь, кругом обходя. – Да без соседей в чистом поле жизни – не жизнь. Так что давай, браток, хаты и друзьям-знакомым моим

сострой-сладь.

Зароптал шиш степной да за дело взялся.

И хуторок к рассвету сладил славный.

Улыбнулся Василь – шиша хвалючи да предложил тому ещё сад разбить, а то какой хуторок да без сада с яблонями-грушами?

Тут уж шиш взвыл:

- Садочок?! Груши?! Да у меня, Василь, от твоих хат да колодцев уже дела по маковку! Я ж, понимаешь ли, дух вольный, степной! У меня свои заботы! Некогда мне с тобой тут балякать!

И – трах!

Рассыпался искрами.

Не стало его.

Только ветер по степи гуляет да всходит, новым хутором полюбоваться спешит.

Вот так-то, молодой княжич, кто власть имеет, а кто смекалку.

Сказ о станице Заложной

Слухайте, молодой княжич, и запоминайте крепко.

Ехал вольный человек один зимней порой со службы дальней.

Застигла его в голой степи пурга – не та, что Зимушка-Зима зачинает, а та что приключается, когда Карачун ярит. Вихрь белый, слепой. Ни неба, ни земли. Сбился с пути, конь захрипел и мёртвым лёг. Оставил он коня да сам идёт.

Замёрз и чует, что сил уж нет – стал в мыслях с женой да детками прощаться, как вдруг – видит сквозь снежную круговерть: огни. Мерцают. Будто станичные окна. Обрадовался. Побрёл к огням.

Станица как станица: мазанки белые, занесённые, дымки из труб стелются. Подошёл к крайней хате, в окне свет, постучал обледенелой рукавицей. Вышла женщина, не старая, не молодая, лицо спокойное да приветливое.

- Заходи, зазябший, погрейся. – говорит голосом тихим, без печали и радости.

Вошел.

Тепло.

Печь горит.

Пахнет хлебом свежим да борщём наваристым.

Отогрела его, накормила да спать уложили.

Поутру предложила припасов да коня дать, чтобы в путь мог тот вольный человек отправиться.

А пурга меж тем не утихла – лишь сильнее ярится.

Попросил человек ещё остаться.

Согласилась добра женщина.

На второй день тоже само было.

И лишь на третий, когда пурга поутихла, покинул вольный дом тот и станицу, благодаря за жизни спасение, за коня и припас.

Обещался вернуться с благодарностью-гостинцами да отказ получил.

Въехал тот вольный человек в свою станицу.

Едет, дивится: и улицы вроде те, да не те, хат новых много стало, а народ не узнать-не признать – всё лица новые.

К своему куреню подходит. А на крыльце с коромыслом возится старуха седая. Глянула на него, глаза вытаращила, руки к лицу прижала:

- Микита… Родной ты мой… Аль это сон? Тебя ж… тебя ж тридцать зим как в степи без вести пропащим считают.

Тут его, как обухом, по темени.

Опустился он на снег у родного крыльца, встать не может.

Знают у нас про станицу эту.

На картах её нет, в реестрах не числится.

Стоит она на самой грани.

Туда, бывает, выходят те, кого степь съесть хотела.

Приют им станица даёт, тепло, хлеб живой.

Но плата за то немалая. Каждый день там за десять здешних идёт.

Вот и думай, княжич молодой, - что оно лучше в степи сгинуть или в дом вернуться, что тебя позабыл.

Сказ о колечке для императрицы

А было сие, молодой княжич, при матушке-государыне Катерине Алексевне, что сейчас Великой зовётся.

Сидела она в Петербурге каменном, в золоте да бархатах. Пиры вершила, законы писала руками своих советников да фаворитов-наушников.

А государству, как водится, ширь да порядок надобен.

Пришли к ней сановники, дьяки приказные, говорят:

- На Югах необъятных, матушка, народ живёт особливый. Землю пашут государственные, сабли носят, а в реестрах числятся спустя рукава. Вольничают. Непорядок. Надобно их, как прочих хлебопашцев, к земле приписать, в оклад ввести, атаманов над ними монаршией рукою поставить, чтоб отчёты знали да подати платили исправно, без обману.

По сути-то, значит, наших, людей вольных, в крепость, в неволю тихую, обратить задумали.

Услыхала то императрица Катерине Алексевне – в раздумье впала.

Дело казённое, государственное, посему – нужное, да махнула рукой, дозволяя:

- Быть посему. Указ изготовить.

А там как раз на её именины пир горой затеяли.

Со всех волостей лицедеи, скоморохи да песенники съехались, потешать государыню. Среди них был один, Васькой звали. Родом он был с наших краёв, душа в нём – ветер степной, воля – неукротимая. Дошла до него весть про указ затевающийся – что нож острый в сердце воткнули. Видит – бояре пируют, смеются, а императрица в конце стола, словно солнце, восседает, указ тот уж позабыт – иные заботы и думы в голове монаршей.

И поднялась в Ваське та ярость, что смерти не боится. Не стерпела душа вольная, что из братов его рабов сделать задумали. В самый разгул веселья, он – прыг-скок! – да в один миг на стол императорский дубовый!

Загремела посуда, застыли бояре, стражи рукояти сабель сжали.

А Васька колесом прошёл по скатерти персидской мимо яств заморских, прямо к самой имениннице. Схватил со стола перед государыней нож серебряный, тонкий, изящный, что для фруктов иноземных лежал. Глянул на императрицу, на Катерину Алексевну, а в очах её и молния гнева, и искра любопытства: мол, что за буян таков?

И начал он нож тот в руках у него плескаться, будто рыбка-малёк, пойманная. Затянул Васька песню старинную, плавную, про речки наши степные, про волюшку, про людей, про наших. И под ту песню, на глазах у всего света, стала рыбка серебряная – нож форму свою менять. Не ломал Васька его, не коверкал – он волю свою в то дело вкладывал. Гнул, крутил, ладонью выравнивал, будто глину мокрую. И стало послушно серебро, мягче воска, покорно воле человеческой, воле вольной.

И обратился нож кольцом.

Простым, без затей.

Притихла палата, будто вымерла.

Протянул Васька императрице-матушке кольцо, поклонился не по-холопски, а по-вольному, с достоинством, и положил это кольцо ей прямо на ладонь белую, перед чаркой хрустальной.

- Прими, матушка-государыня, дар от человека вольного – кольцо простое. Круглое оно как свет белый и как у света белого да воли – нет у него ни начала, ни конца.

Взглянула Катерина Алексевна на кольцо.

На скомороха загорелого.

На рожи бледные сановников.

А потом взяла, надела серебряное колечко на палец свой.

Подняла руку – и весь народ увидел.

- Указ, - изрекла она тихо, но так, что в каждом углу отозвалось, - отставить. Не быть вольному люду в крепости.

И с тех пор, молодой княжич, хоть начальство над нами и было, хоть законы менялись, но той петли крепостной на нашей шее вольной не затянулось, а кольцо то серебряное императрица-матушка наша Катерина Алексевна своему наследнику передала – как память о том, что есть на свете то, что ни купить, ни приказать, ни отнять нельзя.

Сказ о том, как поминки Грицько Бурьяна справляли

Не к ночи мой сказ, да не малец ты, молодой княжич, поэтому слушай уж.

Сидели наши люди, люди вольные, в курене после тяжкого дела – похоронили хлопцев славных, в сече степняками посечённых-порубленных. Только смолкли наши думы – а дверь скрыпнула без стука.

Входит Грицько Бурьян – весной прошлой в полон уведённый.

Смотрим – и кровь в жилах в лёд обратилась.

Как есть – Грицько Бурьян: поступь медвежья, шрам над бровью, от шашки остался, глаза – два углинка чёрных, горят. Скинул бурку, поздоровался голосом тем самым:

- Заждались, чи шо?

И к столу идёт.

Только ум шашки острее у людей вольных.

Первое: вошёл без оклика, хоть это не в обычае у живых. Другое: глянул я исподлобья на пол у печи – а от него, от гостя, тени нету. Совсем. Будто солнце его не признаёт, а только огонь наш, курный, на него глядит. И тревога, как гадюка подколодная, под сердце заползла.

Сидит он меж нами, байки старые травит, про набеги вспоминает – всё верно гутарит, всё знает

Позвали мы его ужинать – бабы солянку, с дымком, на стол поставили. А он ложку в руки взял, покрутил-покрутил да так и положил.

- Не дюже я голоден. – отмахнулся.

От общей чарки горилки отпил – и то, пригубил лишь, будто вода ему полынная показалась. Живой вольный от братского котла не откажется, а от хлеба-соли – и подавно. Поняли мы – сгинул наш Бурьян в стороне чужой, а душа его неприкаянная, «навья» это самая, домой воротилася.

Старый дед Щербатый, что в углу молчал, на меня взглядом тяжёлым, как свинец, ткнул.

Понял я.

И встал я тогда и голосом громким, нараспев, чтобы вся нечисть подпольная слышала, сказал:

- Завтра, как первые петухи, справим ещё одни помины. По всей строгости, по обычаю. И ты, друг Грицько Бурьян, приходи, а пока посидим, погутарим. Дела былые вспомним.

А наутро, как сказал, так и сделали.

Поставили на стол кутью с мёдом, блины на блюде. И отдельно для Грицько Бурьяна. Но не просто так. Опрокинули чару вверх дном – чтоб не пил. Ложку и нож – крест-накрест поверх тарелки – чтоб не ел. А сверху – горбушку чёрного хлеба, да щепотку соли на него – покойнику на дорогу в иной мир.

Вошел он, наш Грицько Бурьян, в курень. Уселся за стол на место указанное, да увидел ту чару опрокинутую, что только покойнику ставят. Лицо его, живое лицо Грицька, стало будто восковое, глаза в пустоту смотрят, в пропасть. Понял. Понял, что место его здесь, среди живых, занято памятью, что смерть его признана и может он свет белый покинуть.

Посмотрел он на нас долгим, тихим взглядом.

Не то с укором, не то с благодарностью.

А потом повернулся и пошёл к двери.

Не открыл он её, а словно дымом растаял в луче скупого утреннего солнца.

Только холодком от того места потянуло, как из погреба, да петух на заборе, на зорьке, прокричал трижды – отгоняя.

Вот такая бывальщина.

Жуткая. Но правдивая.

А тебе, молодой княжич, наука – мало страха страшнее, чем мертвяк о смерти своей не ведающий да меж нас, меж живых, бродючий.

И что б помнил ты, молодой княжич, - коли придёт кто без тени, так не гони его криком, не пугай железом.

Пригласи его на его же поминки, да покажи ему опрокинутую чару. Пусть видит, что путь его в мир живых – окончен, и возвращается туда, где ему положено быть. А нам, живым, - помнить да по усопшим тризну править, честно, по-людски, чтобы душа их не скиталась меж мирами, а покой обрела.

Сказ о бесе, что в кости проигрался

Слыхал я, от людей слыхал, про вольного одного. Захарко Беспалый его звали. Был казак лихой, удалой, да нрав – что порох в запале: вспыхнет – и свету белого не взвидишь. А более всего любил он в «бабки» играть, в кости барановьи. Играл и с нашими, с вольными, и с иногородними, а уж как хмель в голову ударял – так ему и бес не брат.

И случилось раз, после великого праздника, заночевал Захарко в буераке один, под звёздами. Вытащил кости, да с тоски ли, с удали ли, крикнул во тьму:

- Эй, нечистая сила! Аль и тебе, рогатому, костей не на что поставить?

И вышел из мрака, из-под корня вербового, бес. Не велик, ростом с подростка, рожки кривые, хвостик плетью.

- А что ж, - говорит сиплым голосом, - сыграем. Только ставка – не гроши. Мне твои гроши ни к бесу не сдались. Четыре года службы. Кто проиграет – тому и служить.

Захарко пьяной храбростью вздыбился:

- Давай!

Кинули кости.

И вышло так, что бес проиграл. Совсем. Со всей своей бесовской удачей.

Пришлось тому бесу, скрипя зубами, в холопы к Захарке идти. Отбывать срок.

И пошла служба бесова.

Сперва на него, как на диковинку, смотрели: бегает, хвостом поджимает, работу справляет. А работал он, надо признать, не в пример усерднее иных. И умён был до жути: подскажет, как скот от падежа уберечь, как хлеб в закромах от сырости сохранить. Горилку любил, да и сало уплетал за обе щеки – точь-в-точь наш брат.

К концу первого года уже ему скотину на выпас доверяли.

К третьему году он у Захарки не работником был, а правой рукой. И не только у него – у всего хутора. Все к нему за советом шли. Бес-советник, понимаешь ли. И доверие к нему выросло такое, что не всякому человеку снилося.

Настал и четвёртый год.

Последний день отходит.

Проснулись хуторяне утром – тишина.

Не слышно привычного стука, беготни.

Вышли – пусто.

Амбары – пусты.

Скотина – вся, до последней овцы, пропала.

И беса – след простыл.

Только на пороге у Захаркиной хаты лежали те самые кости, в которые они четыре года назад играли.

Собрались мужики, стоят, молчат.

Кулаки сжаты, а бить-то кого? Себя, что ли? Кого винить-то? Беса? Так он свою службу честно, по уговору, отработал. А уж как отработал – это его, бесовская, работа была.

Вот так-то, молодой княжич, не думай, что ты беса за хвост поймал, коли не ведаешь, - какую он с тобой игру затеял. Смотри не на первую кость, что кинута, а на ту, что он тебе под ноги на последнем году подкинуть может. Оно-то, может, и не ты его в кабалу взял, а он тебя, да весь твой род.

Сила бесовская ведь не в рогах, не в хвосте, не в чудесах его.

А в расчёте его тонком.

Да в твоём недосмотре.

Да в глупости… и в гордости твоих…

Сказ о суженой с того света

Жил у нас хлопец один – Остап Чигирь.

Парень хоть куда, лихой на коне, работящий в поле, да только счастья в любви ему не судил ему Бог. Отшила его девка, на которой душа изболелась. И напала на него тоска чёрная, как осенняя ночь в степи, - свет белый не мил.

А тут как раз день его рождения настал, именины. Сидит он за столом один, с полуштофом горькой правды, а друзья-товарищи вокруг обступили:

- Ну що ж ты, Остап, все один? Пора б вже и жёнку сыскать!

А ему каждое слово – что ножиком по нутру. И с горя, а может, с удали, хватил он чару, грохнул кулачищем по дубовому столу да как гаркнет на всю хату:

- Та женусь я на первой, кто в оконце постучится – нехай буде, что буде!

Посмеялись, побалакали, разошлись.

Ночь настала – тихая, степная, только сверчок запечный поскрипывает. Лёг Остап, да сном тяжким забылся.

Только заснув – чует – стук.

Тихенький такой, будто сова клювом в стекло.

Не придал значения.

А стук опять, яснее: тук, тук, тук.

Поднялся он, сердце вдруг заныло без вины. Подошёл к окну, занавеску отдернул…

И душа в пятки ушла.

За стеклом – дивчина стоит. Вся в белом, в подвенечном убору, фата длинная, до земли. А лицо – светлее месячного сияния, бледное-пребледное, очи великие,

тёмные, как два колодца. И смотрит прямо на него, не мигая.

Окаменел Остап. А рука сама тянется, щеколду откидывает. Открыл окно, а от девчины тиною речной да студенем могильним потянуло.

- Что надобно? – выдавил Остап.

- Сам покликав. – голос у неё тонкий, звенящий, будто ручей. – Отпустил меня дедко Речной, хоровод девиц-утопленниц покинуть-оставить дозволил – вот я и явилася.

Пошёл холодный пот у Остапа по спине. Страх его сковал. Но что тут сделать? Слово дал. Отказаться – весь род опозорить, самому в очах людей и в своих ниже трави упасти.

- Так пошли – оженимся. – чубом свои тряхнул Остап да под руку невесту-утопленницу взял.

Пошли они тёмной улицей к храму.

Она – слева, не шагает, а будто плыве, платье по земле не шуршит.

И луна им солнцем светит – дорогу звёзды торят.

А у храма священник в окружении нечисти разной незванной-неназванной, да самым дедом Речным возглавленной.

Так вошли они в храм.

А так меж нечисти и люди вольные сидят да принарядились-улыбаются, будто и не видят вовсе, что деется.

Начался обряд.

А как дал Остап согласие своё, так потеплела рука жены его законной, да румянец щекам вернулся.

И не упопленица уж рядом с ним стоит – краще ясного сонця дивчина с ним стоит! Очи синие, як небо посля грозы, коса руса до пояса. Живая! Теплая!

С той поры зажили они душа в душу. Детей народили крепких. Любовь у них велика была, а Остап больше слов на ветер не бросал – всё больше жену свою умницу слушал.

И ты, молодой княжич, за словами следи-послеживай – не знаешь какой отклик-окрик вызовут.

Сказ о каше из топора

Шёл это, сказывают, по нашей стороне человек один.

Не вольный, не наш, а залётный, проходной.

Шёл себе с войны, видать, - в рубахе вылинялой и сапогами пылью степной полными. Лицо – ветром степным выметено.

Завернул на ночлег в крайний курень, что на отшибе станицы стоял. Жила там одна старая Марфа Семёновна. Хозяйка была строгая, крутая нравом. Мужа да двух сыновей давненько похоронила. Сердце у неё с горя того закаменело. Милостыню просто так не подавала – не в обычае то было у неё.

Постучался солдат в дверь, голосом охрипшим:

- Хозяюшка-матушка, пусти переночевать, отдохнуть с дороги, краюшку хлеба…

А она ему из-за двери, не открывая:

- Иди своей дорогой, служивый, - самой есть нечего.

Тогда, мать, хоть водицы испить из колодца вашего да погреться у печи, сил набраться? – не отступил солдат.

Подумала, вздохнула, впустила.

Сидит он на лавке, видит – хозяйка сама не ужинает, а по избе ходит деловито.

Понял солдат – припасы есть, да не для всякого прохожего.

И задумал солдат хитрость военную.

Говорит:

- Ну, коли есть нечего, так я тогда, хозяюшка, хоть из топора твоего кашу сварю. Наш брат, солдат, этому обучен.

Уставилась на него Марфа Семёновна, очи прищурила да виду не подала, что хитрецов многих видывала:

- Из топора? Ну диковина. Давай, посмотрю я на это фокусничество.

Достал он свой походный котелок, налил воды из ведра, положил в неё топор хозяйкин – бух!

На огонь поставил.

Варит, помешивает, сам приговаривает:

- Эх, чую, будет каша - за уши не оттащишь! Только вот жаль…

- Чего жаль-то?

- Да соли бы щепоть.

Хмыкнула Марфа, махнула рукой – принесла соли.

Варится топор, булькает.

Опять солдат головой качает:

- Ох, и запах бы теперь… луковый, золотистый…

Понесла она ему и луковицу, душистую.

А дальше – то крупинки перловки «для основы, чтоб на дне не пусто было», то картофелину «для густоты», то сальца краешек «для духу, чтоб по всему куреню пахло, будто праздник».

Расстаралась, расщедрилась Марфа Семёновна – поняла, что пришёл к ней не простак, не нищий, а человек с изворотом да с шуткой в глазах. А это у в степях ценится пуще богатства. Смотрела на него уже не строго, а с любопытством, будто на внука озорного, которого давно не видала.

И когда уж котёл загудел на всю хату, запах такой пошёл наваристый, что слюнки текли, она ему сама, молча, в бульон лавровый лист кинула да перцу стручком ткнула:

- Без этого у нас не варят.

Ну, сварилась, значит, каша.

Сели за стол.

Наелся солдат досыта, щёки порозовели, глаза заблестели. Благодарность говорит, а Марфа Семёновна смотрит ему в очи прямо и говорит:

- Запомни, служивый: у нас, у людей вольных, коли гость с умом, с почётом, да с уважением пришёл – не то что из топора, из щепотки пыли дорожной можно кашу сварить.

И пошёл солдат дальше, а на душе у него светло стало, тепло. Будто не кашей одной, а самым что ни на есть родным теплом на весь путь дальний наполнился.

Вот так-то, молодой княжич, бывает, если с умом да с улыбкой к делу подойти.

Сказ о молодом лесе

А этот сказ, последний мой, молодой княжич, ты и сам, должно знаешь, да всё равно – послушай.

Было это на столице, во времена не столь давние, чтоб забыть, и не столь близкие, чтоб помнить. Царствовал тогда государь один. Имя его в сказе не главное, а суть – была. Сперва правил твёрдой рукой, да с расчётом, землю-матушку не обижал. А потом, видимо, лесть да спесь ему ум затуманили, как туман осенний лиман. Перестал карь-государь слушать мудрость, что от земли идёт, а прислушиваться стал к доброхотам разным, что шепчут да нашептывают из тёмных углов.

И пошли от него тяготы невиданные: с труд печных да окон налог стал брать. И людей – кого на каторжные работы, кого в солдаты навек. А пуще прочих на нас, на людей вольных, взъелся. Задумал царь, видно, корень наш подрубить, вольницу искоренить.

Перво-наперво: велел атаманов не на войсковом кругу избирать, а из столицы назначать. И прислали нам начальника – барчука молодого, что и с лошади-то упасть боялся, зато чванства в нём – на весь кош. Во-вторых: объявил земли наши заповедные, рыбные тони да сенные покосы – казённой собственностью. С своего же, с кровного, оброк платить! Это уж сердце у любого вольного оборотиться могло. Ну и в-третьих, что пуще горькой редьки: слух пополз, будто задумал он молодых девиц наших в столицу, для услуг дворцовых, забрать.

Тут уж терпению конец пришёл.

Собрался тогда на круг люди вольные, для думы кровавой.

Поднялся старый атаман, дед Порфирий, весь седой, как лунь:

- Не против государя или Родины идём, братцы. Идём против кривды. Коли он на волю нашу, на честь нашу да на хозяйство наше посягает – он нам не батька, а поезженец злой. Поезженцу – отпор.

Вскипел край.

Не разом, а по-нашему, степному – от куреня к куреню, как огонь по сухой ковылине. Не вилы поднимали – шашки булатные. Пошли опричь станицы от царских урядников да сборщиков освобождать.

А в самой столице, слыхали мы, смута поднялась. И народ, и бояре – на самого царя. И примчался к нам гонец, запылённый, с вестью: царя того в палатах его схватили свои ж, и суд у них скорый – казнить, яко тирана.

И встал на кругу вопрос, что острее любой пики:

- А отпрыск-то? Отрок, Феодором звать. Где он? Что с ним станет?

И поднялся говор-галдёж.

Одни, горячие сердцем, кричали:

- Всё зёрнышко горькое – чтоб плевела не осталось! И отросток – под корень!

Другие, старики да разумные, молча курили.

Потом поднялся есаул наш, Марко Однокий – прозвище за то, что в бою око потерял, а другим – за трёх видел:

- Стопыте, соколы. Слыхал я от людей бывалых. Отрок тот, Феодор, -тихий, книгочей, мать свою покойную, добродетельную, поминает. И от отцовых указов, слышь, сторонкой обходит. Не в ответе дети за грехи отцов. Не заслужил он казни.

И порешили: послать лихих да невидимых – проведать.

Повёл ту ватагу сам Марко.

Пробрались они в самую кутерьму столичную, ко дворцу. А там уж стражи нет, чернь гуляет, тащит кто что может. Нашли теремок царевича – а в дверях старый дядька, слуга преданный, с бердышом стоит. Последнюю твердыню держит.

Взглянул Марко на отрока – сидит в углу, бел как холст, книгу прижимает к груди, - и видит: страху в очах – полна чаша, а злобы – ни капли.

- Не убивать тебя пришли. – говорит Марко. – Спасать. Выбирай: здесь тебя либо за отцова растерзают, либо с нами судьбину новую отыщешь.

Вывели они его, в сермягу переодели, вынесли, как орлы птенца из змеиного гнезда.

Наутро по всей земле вопль: «Царевича убили! Душегубы!»

А царевич-спасённый меж тем средь людей сред наших, средь людей свободных жить стал.

Меж тем пошумело да утихло в столице.

Да там и решать стали – кому править страной надобно, кто в праве на то дело.

Хотели мы попервому, как люди честные, вернуть царевича спасённого да на трон отцовий усадить. Только заупрямился наш Хведько, - отказался скипетр и державу в руки брать – сабля вострая да степь привольная краше хлопцу показалися.

А там, как пора пришла, обженился Хведько с Марьей – девицой тихой как речка степная да столь же милой сердцу людей вольных.

И сказ мой, молодой княжич, не о том, что средь вольных людей с тех пор кровь голубая, право на трон имеющая течёт, а о том, что даже гнилое древо может дать побег здоровый, и людям знающим ещё постараться должно чтоб этот побег не перенял болезнь от родителя.

Ветер Степей с тоской оглядывался на оставшиеся за спиной ковыльные просторы, где на привольно было ему гулять.

Но не мог он отстать от этих странных людей – прикипел он сердцем к тем сказам, что сказывал под ночным небом старый дед Свирид. Слова того лились, как мёд, и пахли дымом костра, полынью и далью, что казалась такой близкой и родной и в тоже время той, в которой даже ему Ветру Степей никогда не бывать.

Приглянулся Ветру и молодой княжич, что слушал, не шелохнувшись, впитывая каждое слово, а наутро засыпал деда и спутников вопросами, острыми и ясными, как горный кристалл.

А ещё вела Ветра в эту сторону родная кровь.

Шли путники в гости к брату его, Ветру Гор и Ущелий.

Брат тот был нравом крут, порывист и шаловлив. То камень со скалы сгонит, чтоб грохотом эхо разбудить, то с плеча джигита бурку сорвёт да в пропасть

швырнёт, то горстью колючего снега в глаза коню метнёт – испытать, крепко ли держит седло всадник.

Но любил его Ветер Степей брата своего. Любил за чистоту, что пахнет снегом и сосной. За голос, что звенел, как сталь о камень. За силу, что гнёт вековые ели.

Бывало, сходились братья на склоне меж равниной и тучей – и спорили до хрипоты: что краше, что вольнее? Степной раздольный простор или горная, к небу рвущаяся, высь? И от тех споров рождалась буря, да такая, что земля трепетала. Но братская любовь от того не слабела – крепла, как дуб, что ветры лишь корни его глубже вгоняют в камень.

На одном из таких привалов, у старой заставы, коих за спиной осталось не мало, когда костёр потрескивал, а звёзды висели низко-низко, дед Свирид, оглаживая бороду, молвил с хитрой и светлой улыбкой:

- Умар-эфенди, брат. Вижу я – земли мои, степные, позади остались. Чует моё сердце, пора мне умолкнуть, а тебе место моё занять. Пора тебе сказы начать сказывать – те, что земле этой каменной любы будут.

Сухой старик, чья голова была бела, как вечные снега на вершинах вечных гор, медленно кивнул. Глаза его, глубокие, как горные озёра, глядели в пламя.

- Как есть правда в словах твоих, брат Свирид. Голос степной тут смолкнет, а голос гор должен говорить о горах. Да будет так.

СКАЗЫ УМАРА-ЭФЕНДИ

Сказ о тропе

Было это когда мир был моложе, а горы и звери ещё не разучились говорить.

Жил тогда в высоком ауле джигит по имени Лаго. Не было у него равных в удали: на скаку сонного тура за рога поднимал, шашкой рассекал летящую стрелу, голыми руками медведя в берлоге душил. И закипело в нём вино удали, затуманило разум. Стал он думать: «Кто может быть мне указ? Разве что сами горы, да и то – нечего нам с ними пока делить».

Однажды шёл он по узкой тропе над пропастью, где орлы гнездятся. А навстречу ему – старец, согбенный, как старая орешина, с посохом из цельного дуба. Тропа узка – двоим не разойтись.

- Расступись, дед. – молвил Лаго, не снижая взгляда с дальних вершин. – Сила уступает силе, а слабость уж тем более.

Старец поднял глаза.

И в тех глазах, глубоких и спокойных, как озёра в полдень, была не слабость, а тишина такая, что перед обвалом горным случается.

- Джигит, - сказал старец тихо, - силён ты, но сила без пути – как конь без узды: сокрушит и своего всадника. Уступить – легко. Но это будет уступка не тебе, джигиту сильному и ставному, а гордыне твоей. А она, сынок, приведёт тебя туда, куда даже орёл не долетит – в пропасть, в бездну.

Не внял Лаго.

Закипела в нём ярость, что посмел кто-то учить его.

- Прочь с дороги! – прогремел он и шагнул вперёд.

- Ослепила тебя собственная тень, Лаго, и, если глаз твой видит только свою силу, так тому и быть.

И коснулся посохом земли у ног джигита.

Не грохот, а тихий стон вырвался из недр. Не страх, а ледяное изумление сковало Лаго. Он почувствовал, как каменеет. Конь его, только что горячий паром исходивший, становится бледным, как лунный свет, и застывает. Увидел, как его собственная рука, лежавшая на эфесе, темнеет и тяжелеет, становясь частью скалы.

Последним, что воспринял его разум, был не гнев, а странная ясность: он стал тем, о чём думал. Неподвижной, вечной силой. Преградой.

И стал на той тропе камень, похожий на всадника и коня, слившихся в одно целое в последнем порыве.

Нарты прозвали его «Всадник-Гордыня».

И долгие годы обходили его стороной. Но не сбрасывали. Ибо мудрые говорили:

- Не трогайте. Это не просто камень. Это – зеркало. Каждый, глядя на него, пусть спросит себя: «Не веду ли и я своего коня к тому, чтобы стать немой глыбой на пути своего же народа?»

Тропа учила обходить его с величайшей осторожностью, уважая ту страшную участь. И сам камень, поросший позже мхом и цветами эдельвейса, стал не помехой, а местом памяти и меры.

Вот так, молодой княжич, сила, не знающая уважения к пути, сама становится частью пути – немой и вечной преградой, напоминанием для живых.

Сказ о слове

Давно это было, когда Правда ещё ходила по земле в своих белоснежных одеждах, а не пряталась нагая в тени, боясь показаться людям.

В высокогорном ауле, где орлы знают каждого ягнёнка по имени, доживал свой век судья по имени Туган. Не пши он был, не князь, но уважение к нему было выше всяких титулов. Пятьдесят зим и пятьдесят лет он вершил суд по адату – древнему закону гор.

И вот пришла к нему та гостья, перед которой все равны – и пастух, и пши. Пришла Смерть. Не спеша, степенно, как и полагается уважаемой женщине, вошла она в его саклю, пахнущую старыми книгами и дымом мирры.

Собралась вся родня – сыновья, дочери, внуки, правнуки. Стояли у изголовья, затаив дыхание. Ждали последнего завета, последней крупицы мудрости, которую унесёт с собой в могилу этот великий ум. Ждали слова о земле, о разделе стад, о чести рода.

Туган открыл глаза.

Глаза, потускневшие, но ещё острые, как кончик кинжала. Обвёл он тем взглядом каждого – медленно, тяжело, будто взвешивая на незримых весах всю их будущую жизнь.

Тишина в сакле стала густой, как буза.

И заговорил он. Голос был тих, сух, как шелест прошлогодних листьев, но каждое слово падало на сердца, как капля расплавленного свинца:

- Дети мои. Прошёл я долгий путь. Сидел я под древним чинаром на судейском камне. Ко мне приходили с ненавистью в очах и с кровью на руках. Я судил споры за клочок земли, который не стоил палого листа, но был оплачен кровью сотен. Я судил за украденного коня, цену которому можно измерить в серебре, но отмеряли человеческими жизнями.

Он замолк, переводя дыхание, которое стало похоже на скрип старых половиц.

- Но знайте – это были не дела о земле, конях или крови. Это были дела о словах.

Родня переглянулась:

- О словах? Каких словах?

- Одно неосторожное, злое слово, брошенное сгоряча на базарной площади. Одно колкое прозвище, прилипшее навек. Одна клевета, шепнутая на ухо, как змеиный яд. Одно хвастливое обещание, которое обернулось ложью. Из-за них рушились союзы, распадались семьи, и высыхала любовь. Из-за них затачивались кинжалы, которые потом находили путь в чужие сердца.

Он приподнялся на локте, и в его глазах вспыхнул последний, пронзительный огонь:

- Вы думаете, слово – это дым? Нет. Слово – это семя. Брось его в почву чужой души – и оно прорастёт. Растёт оно медленно, невидимо. И вырастает в камень. Камень обиды. Камень ненависти. Камень презрения. Этот камень люди носят в груди годами. Он тяжелеет. И однажды они начинают швырять эти камни друг в друга. А потом хватаются за настоящие.

Старый Туган упал на подушки, обессилев. Последние силы уходили в речь:

- Я видел, как из-за одного слова, сказанного пьяным пастухом, два рода три поколения резали друг друга. Видел, как из-за сплетни, пущенной завистливой женщиной, лучшие джигиты ложились костьми в ущелье. Слово… оно страшнее пули. Пуля убивает тело. Слово убивает правду. А без правды – нам конец.

Он собрался с духом, чтобы выговорить последнее:

- Запомните. Как бы ни был ты богат скотом, как бы ни была обширна твоя земля, как бы ни остра была твоя шашка… всё это прах перед силой Слова.

Берегите Слово. Взвешивайте его на весах сердца и разума, прежде чем выпустить из уст. Ибо всё начинается со слова. Им начинается ссора. Им начинается дружба. Им начинается любовь. Им же можно всё это и закончить. И сама Смерть к слову прислушивается.

Смерть согласно кивнула и положила конец жизни Тугана, ведь сказано им было всё, что должно.

Передал судья самую свою большую мудрость детям и внукам-правнукам своим, исполнив долг свой, долг старшего перед младшими.

И настала в сакле тишина.

Помни слова старого судьи по имени Туган, молодой княжич. И да будут твои слова весомы и чисты, как горный хрусталь, и прочны, как кремень.

Сказ о трёх братьях

В те времена, когда нарты ещё пировали в своих каменных залах, жил в высокогорном ауле пши по имени Аслангери. Богатство его было велико: стада покрывали склоны, как подвижные облака, а в подземных кладовых лежали шкуры барсов и мерцало серебро.

И задумал Аслангери испытание. Созвал он старейшин и провещал на весь аул:

- Слушайте, люди! Отдам я одно из своих дорогих сокровищ тому, кто докажет, что достоин его.

Молва, быстрее горного серны, разнесла весть по ущельям.

Многие приходили – могучие нарты, лихие джигиты.

Но испытание пши было трёхглавым, как змей: «Найти то, что невидимо. Сразить то, что неуловимо. Удержать то, что неудержимо».

И все возвращались, посрамлённые.

Услыхали про это три брата из дальнего, бедного села. Старший, Джедал, зорок был умом, видел суть вещей сквозь туман и ложь. Средний, Батир, меток был рукой, его стрела не знала промаха. Младший, Каншау, силён был плечом, мог удержать сорвавшийся с кручи камень. Решили идти вместе – иначе и надежды не было.

Предстали они перед Аслангери в его сакле, где на стенах висели старые щиты.

- Пришли мы за твоим сокровищем, о пши. – сказал Джедал, выступая вперёд.

Князь, не поднимаясь с циновки, изрёк:

- Владения мои простираются до снежных вершин гор. Там, среди скал, живёт белая серна Алмаст. Десять зим никто не видел её тень. Найдите её. Когда побежит – сразите её в прыжке меж небом и бездной. И когда падёт её тело в пропасть – поймайте его, чтобы ни капли живой крови, что горячей золота, не пролилось на камни.

Братья поклонились и отправились в путь.

Вёл их Джедал. Он не к земле припадал, а читал знаки: где мох гуще на северной стороне камня, где клочок белой шерсти зацепился за колючку таволги. Он вёл их не глазами, а мыслью, как нитью через лабиринт скал.

- Она там. – указал он на узкую трещину под нависшей глыбой, чёрной, как совесть предателя. – Спит, прикрывшись собственной белизной.

Когда испуганная серна метнулась вперёд, скользя по карнизу тоньше серповидного клинка, братья замерли. Батир же, не моргнув, натянул тетиву своего старого, поющего на ветру лука. Струна взвыла, стрела свистнула – и нашла свою цель в единственном миге, когда зверь был меж скалой и пустотой.

Мёртвая серна сорвалась вниз, тяжёлая, как мешок с зерном. Младший брат, не раздумывая, бросился вдоль края пропасти, обгоняя падение, и в том месте, где ущелье сужалось, подставил свои широкие плечи и руки, впитавшие силу от вспашки каменных полей. Он принял удар, от которого содрогнулась земля, но удержал тушу, не дав ей даже коснуться острых зубьев скал.

Принесли они добычу пши.

Аслангери долго смотрел, а потом молвил:

- Испытание моё, сломило многих, но прошли вы. Вы достойны взять то, что я обещал. Но сокровище моё – едино, не разделить его на троих. Кто из вас внёс главную лепту? Пусть он и возьмёт его.

Тут между братьями, как между тремя ручьями, встретившимися в одном ущелье, поднялся спор.

- Моя заслуга главная! – сказал Джедал. – Без глаза, что видит невидимое, вы бродили бы впотьмах, как слепые щенки!

- Нет, моя! – воскликнул Батир. – Без руки, что не дрогнет в решительный миг, ваша находка ушла бы в туман, став насмешкой!

- Оба вы говорите, не видя истины! – перебил Каншау. – Без силы, что устоит против судьбы, падающей с небес, всё ваше умение развеялось бы ветром! Я сберёг саму суть – само сокровище!

Аслангери слушал их, и мудрость, тяжёлая, как свинец, опускалась в его сердце. Он поднял руку, и в сакле воцарилась тишина.

- Спор ваш, - изрёк он, - это спор ножа, лука и щита о том, кто главнее в бою. Но разве отрубит нож без руки? Разве попадёт стрела без глаза? Разве устоит щит без земли под ногами? Вы справились не потому, что были сильны по отдельности. Вы справились потому, что были одним существом. Нельзя делить ножом то, что создано быть целым.

Он хлопнул в ладоши.

Вошли его три дочери.

Старшая, Аминет, стояла прямее всех, и взгляд её, острый и умный, обжёг каждого из братьев. Средняя, Зарема, была прекрасна, как утро в горах, но в глазах её читалась готовность к действию. Младшая, Сатаней, цвела юностью, нуждающейся в опоре.

- Пусть целое останется целым. И выдам за замуж не одно из моих сокровищ – старую из моих дочерей, а сразу трёх. – сказал пши. – Джедал, твой ум найдёт ключ к сердцу, что защищено крепче любой крепости. Аминет – твоя. Батир, твоя решимость придётся по нраву той, кто ценит отвагу выше красоты. Зарема – твоя. Каншау, твоя сила станет скалой для того, что ещё зыбко и молодо. Сатаней – твоя.

Так три брата, пришедшие за одним сокровищем, обрели каждый по судьбе.

И не было между ними больше спора, ибо поняли они, стоя перед мудрым пши: настоящее богатство – не в том, чтобы захватить сокровище, а в том, чтобы увидеть в нём ту часть мира, которая ждала именно тебя. А сила рода, молодой княжич, - не в одном могучем дубе, а в переплетённых корнях многих деревьев, что держат склон от обвала.

Сказ о мести

Послушай, молодой княжич, сказ, что тяжелее иных.

Жил когда-то джигит по имени Каплан. Ушёл он с отрядом за Седой Перевал, туда, где реки, говорят, в раздумье меняют течение. Семь раз Смерть дышала ему в затылок – семь раз откупался он лишь ранами. И вернулся. Живой. Нёс в потрёпанном хурджине дары: матери – серебряную хасию на платье, отцу – клинок из синей булатной стали, дочурке малой, что родилась под звон его стремян, - куколку, вырезанную из арчи, и для жизни новой – монет в достатке.

Поднялся к своему аулу.

У края тропы стоял старый Хадж-Мурат. Не сказал «добро пожаловать», не обнял как брата. Схватил его так, будто хотел удержать от падения в пропасть, и прошептал голосом, сорванным в стычке с горем:

- Каплан. Дома твоего нет. Сакля – чёрный оскал пепла. Твоё солнце – мать, твоя скала – отец, твой первый цветок – дочь… их укрыла земля-мать чёрным буркой. Уснули. И виной тому люди лихие, из-за Седого Перевала пришедшие.

В тот миг свет ушёл из очей Каплана. Ясный день стал для него чернее подземелья под корнями мира. Не издал он ни звука. Не проронил слезы. Он окаменел. Простоял двое суток у пепелища, недвижим, как страж на вечном посту. Не вкусил ни крошки, не смочил губ. Только смотрел на обугленное дерево да на золу. А на третье утро, когда первые лучи позолотили вершины, растворился, как туман.

И пошёл он не дорогой, а тропой абрека, тенью, зверем.

Перешёл Седой Перевал.

Забрался в те узкие ущелья, где жил народ, с которым ещё вчера скрещивал клинки. Искал он не войска, не предводителя. Искал он зеркало. Искал саклю, что стоит меж двух ручьёв, на краю чащи, где должны жить старик, старуха и девчонка на выданье. Чтобы месть была сладкой, как яд. Чтобы их последний вопль отозвался в нём эхом того беззвучного крика, что разорвал ему душу, и мог он наконец умереть.

И нашёл.

Халупа из дикого камня.

Дымок из трубы – жидкий, прерывистый. Вошёл без стука, переступив порог, за который жизнь когда-то вышла из его дома. И вот они: перед ним – старуха с лицом, изрытым морщинами глубже, чем трещины в иссохшей земле; девочка с

огромными, тёмными, как лесные озёра, глазами, полными одного лишь чистого ужаса; и старик без ног, сидящий на потертой волчьей шкуре. На дастархане – пустая деревянная пиала. Запах нищеты, что въедается в камни, запах отчаяния, знакомый ему по последним дням в родных стенах перед уходом.

- Ну, вот. – проскрежетал Каплан, и голос его был чужим, будто доносился из-под груды камней. – Пришёл поквитаться я. Хочу расплату взять за близких.

Они не ответили.

Молчали, как должно молчали его родные.

И взгляд его, скользнув по их лицам, упал на пустую пиалу. На тонкие, как прутики, пальцы девочки. На культю старика.

И тогда, в этой убогой сакле, куда он принёс только смерть, с Капланом случилось то, что сильнее любого безумия – к нему вернулся разум.

Тяжело опустился Каплан на низкую скамью у порога.

Молча стянул с плеч свой хурджин.

Скинул с ног грубые чарухи.

Не глядя, швырнул в тёмный угол свою шашку, кинжал. Звякнули они о камень и смолкли, будто устыдившись.

Достал Каплан серебряную хасию, клинок из синей булатной стали и куклу из арчи, монет в достатке – те самые дары, что нёс своим.

Положил их на дастархан.

И лишь тогда сказал:

- Я пришёл… я вернулся…

С тех пор, в том ауле за Седым Перевалом живёт Каплан, и есть у него, и отец, и мать, и дочь.

Таков мой сказ, молодой княжич, сказ о том, что истинный враг не сидит у холодного очага, не голодает и не страдает. Истинный враг – это сама Война, этот слепой, ненасытный зверь, что пожирает отцов и матерей, дочерей и сыновей по обе стороны любой реки, любой горы. Но не всем то, молодой княжич, известно. Не все то могут принять.

Сказ о мышке и коте

В одном большом ауле, что прилепился к скале, как ласточкино гнездо, жил пши по имени Арслан. Богатство его было велико: табуны его коней затмевали солнце пылью, а амбары ломились. Но славился он на весь край не щедростью, а ненасытным оком своим, что высматривало по соседним саклям девичью красоту, чтобы прибрать к рукам.

Заприметил он однажды горянку по имени Лаура. Стройна она была, как молодой кипарис, руки её знали цену труду, а во взгляде, осторожном и умном, светилась врождённая гордость тфокотля. Была она бедна, но вольна, как горный поток.

Не пристало пши самому ходить по таким делам, как простому джигиту. Послал он своего верного нукера – ловкого, вкрадчивого, с голосом мягче бархата. Звали его Шамиль, и был он похож на сытого кота: всегда в тени господина, всегда сыт, и ступал неслышно, и слова его были сладки, как перезрелый инжир.

Подкараулил Шамиль девушку у старого родника, где вода пела тихую песню. И начал мурлыкать, вылизывая каждое слово:

- О, жемчужина в простой оправе, зорко видит тебя мой господин, Арслан-пши. Приглянулась ты ему – проворна в работе, скромна в нраве, прекрасна, как утро над горами. Оставь свою тесную саклю. Иди служить в его высокий дом, под своды, где ковры шелком шиты. Будешь ты там только светлые горницы обихаживать, только тонкие ткани в руках держать. А плата тебе – целый хурджин серебра да мерка золотого песка в придачу!

Девушка остановилась, опустила глаза к воде, но ум её работал быстрее горного ручья после ливня. Подняла она ясный, как та же родниковая вода, взгляд и ответила тихо, но так твёрдо, что каждое слово звенело, как удар клинка о камень:

- Передай своему господину: мир ему. Только работа, что ты сулишь, - слишком проста и мала для такой щедрой платы. А где плата велика не по труду – там не служба, а петля для души. Нет, не пойду я.

Сказала так, поправила кувшин на плече и пошла своей тропой, оставив нукера-кота с пустыми руками.

О том, как благодаря ослиному упрямству Арслан действительно обратился ослом говорить я не буду, молодой князь, ведь этот сказ был не о упрямом пши,

а о Лауре, что смогла за наградой разглядеть ловушку и тем сохранить свои честь и имя.

Сказ о вдовьем перевале

Было то в ущелье, где ветер воет, как осиротевший шакал. Жил там горец Астемир. Была у Астемира жена Залина, что светилась в их бедной сакле яснее любого очага. Любил он её, как орёл любит высь: без неё – и крылья не в радость.

Но пришла черная смерть, что сжигает человека изнутри, как сухую лозу. А до знахаря, что жил за горой – пять дней пути по тропам, где и оленю-то трудно не устоять.

Астемир нёс жену на руках, он молил горы расступиться, а время – остановиться. Не расступились. Не остановилось. Умерла Залина у него на руках, не доехав и до половины пути.

И лишился Астемир света жизни своей.

Поднял он голову к небу, чёрному от громадности скал, и не стал проклинать. Он пошёл в свою саклю, взял не шашку, не винтовку. Взял он кирку, что помнил ещё руки его деда.

Вышел к хребту.

Поднял кирку. И ударил.

День.

Месяц.

Год.

Пять лет.

Астемир дробил камень, делая проход.

Его стук, глухой и мерный, стал новым биением сердца ущелья.

И настал день, когда сама Гора не выдержала. Не из милости – из раздражения, обратилась она к Астемиру:

- Прекрати. Ты будишь то, что должно спать. Оставь свой бессмысленный труд. Уйди. А я, так и быть, дам тебе награду за упорство твоё. Дам долину, где текут молочные реки. Дам дворец из белого мрамора, где прохлада будет царить даже в полдень. Я наполю дворец тот красивейшими из женщин. Ты забудешь там о своих печалях и труде этом бессмысленном. Ты будешь там жить, как пши, и скорбь твоя растает, как утренний туман.

Астемир опустил инструменты и обернулся, посмотрел на плоды своих многолетних трудов, на зияющую, грубую, рану в теле Горы. На груду щебня у своих ног. На кирку, что была уже не орудием, а продолжением его самого.

И ответил:

- Ты предлагаешь не дворец и избавление от скорби, ты предлагаешь мне забыть. Забыть о моей Залине и всех тех, кто подобно ей умрут, потому что на пути к их спасению стоит гора, поэтому я не остановлюсь. Я умру, здесь, в пыли, с горем в сердце, но после меня останется проход в горе. И каждый будет знать – даже гора может покориться воле человека.

Гора ничего не ответила.

Астемир поднял кирку.

И ударил снова.

Астемир пробил тот проход в горе.

Так и случилось, молодой княжич.

Не всякий подвиг – в том, чтобы обагрить клинок кровью, как не всякая награда – это дворец.

Иногда подвиг в том, чтобы построить дорогу для других, для будущего. Построить даже если самому по ней не суждено будет пройти.

Сказ о настоящей любви

Жил в ауле джигит по имени Саид. И была у него любовь – Умаймат. Не просто красавица. Красота её была таковой, что, говорят, соловьи, заслышав её голос у родника, на неделю теряли дар песни от зависти.

Собрался Саид на базар в чужеземный город, за товаром.

- Привезу тебе подарок, - сказал он, - достойный тебя.

Искал он долго, пока взгляд его не упал в тёмной лавке старого мастера-ювелира, человека с глазами, как две щели в скале. Лежало там в бархате кольцо. Не золотое, не усыпанное самоцветами. Серебряное, простое. Но камень в нём был будто не из земли, а украден у самого неба: прозрачный, с глубиной, в которой играл отсвет звёзд.

Саид купил, не торгуясь.

Путь домой был для него одним долгим счастливым дыханьем.

Да не удержался, достал из-за пазухи подарок, поднял навстречу солнцу… И в тот миг ветер-шалун, что вечно резвится в тех местах, свистнул, вырвал серебряный ободок из пальцев. Блеснуло кольцо в воздухе, как слеза, упало в белую кипень у подножия скалы, мелькнуло один раз среди чёрных камней – и скрылось.

Искал Саид до темноты.

Переворачивал камни, руки ободрал в кровь.

Нашёл только стыд и пустоту в груди.

Вернулся в аул.

Стоял перед Умаймат, не смея глаз поднять, сжимая в кулаке несуществующий подарок. А она… она не вздохнула, не нахмурилась. Она взяла его натруженные, пустые ладони в свои и обвела их тёплым взглядом.

- Саид, - сказала она тихо, - ты привёз мне лучшее, что мог. Ты привёз честное слово и целое сердце. Разве можно купить это на базаре? Кольцо было лишь знаком. А знак – он и в сердце живёт.

Так и пошли они по жизни рука об руку. Вырастили детей, внуков.

Время, этот неутомимый пастух, погнал по их лицам стада морщин, посеребрил виски. О кольце и думать забыли. Оно осталось там, на перевале.

Но есть у вещей, выкованных с чистым намерением, своя душа. И своя судьба.

Прошло сорок зим.

А может, и все пятьдесят.

Ехал уже седой Саид да становился напоить скакуна.

И вдруг, сквозь шум воды, будто тихий зов, мелькнул в его глазах знакомый отсвет. Не блеск. Напоминание. Лежало меж гладкой гальки что-то белое, чистое, будто только что упавшее. Он нагнулся, кости затрещали.

Поднял.

Кольцо.

Его кольцо.

Сорок лет вода его носила, песок скоблил, мороз сковывал, солнце жгло. Оно должно было истлеть, раскрошиться, раствориться. Но нет. Вода не состарила его. Вода очистила. Серебро стало матовым, благородным, как лицо старого мудреца. А тот камень, капля небес, сиял теперь из глубины сокровенным, накопленным за десятилетия светом. Он вобрал в себя шум водопада, крики орлов и теперь отдавал этот свет тому, кто его ждал.

Саид поднял не украшение. Он поднял свою молодость, свою первую клятву, тот самый миг на перевале, когда мир был прост и ясен. Он поднял время, которое оказалось не врагом, а союзником.

Привёз он кольцо домой.

Ничего не говоря, протянул Умаймат. Та, теперь тоже седая, с руками, изборождёнными трудами, взяла его. Помолчала, глядя на него, будто видя в нём всю их совместную жизнь. И надела. На тот самый палец, который ждал его полвека.

И случилось чудо.

Морщины исчезли, седина почернела. Тяжесть лет спала с них.

Стали Саид и жена его Умаймат молоды, как были когда-то.

Вот таков мой сказ, молодой княжич.

Есть на свете вещи, которые время не точит.

Первая любовь, взятая не для забавы, а на всю жизнь.

Честное слово.

Они, как это кольцо, - если они подлинны, то года лишь смоют с них шелуху суеты, отполируют до истинного, вечного блеска.

Сказ о настоящих друзьях

Жил, молодой княжич, в одном из горных аулов джигит Хасан, удалой да весёлый. Полюбилась ему девушка из соседнего ущелья, и дали добро старейшины. Закипели приготовления к свадьбе.

Пришёл Хасан к отцу своему, Джамбулату, человеку, чья борода была седа от мудрости, а не от одного возраста.

- Пир будет на весь край! Пусть все мои друзья, все, с кем я кумыс пил и на джигитовке скакал, разделят мою радость! Пошли гонцов, пусть зовут!

Посмотрел на него Джамбулат, глаза прищурил, в которых прятались все хитрости адата и все уловки жизни.

- Хорошо, сынок. – сказал спокойно отец. – Созовём твоих друзей.

Не стал он писать приглашения с узорами. Не стал кричать на площадь. Он взял семь своих самых верных, быстрых нукеров и дал каждому наказ. И разъехались те гонцы по семи дорогам в семь разных ущелий.

Но везли они не весть о пире.

Весть была иная, суровая, как кремень: «Слушайте, друзья Хасана! Беда пришла. Род Хаджиев из-за перевала задумал сорвать свадьбу, невесту силой отнять. Хасан зовёт на подмогу! Кто друг – тот будет с шашкой наголо, с первыми лучами солнца. Ждём не гостей, а братьев по оружию».

Настало утро.

Заря ещё только розовыми пальцами трогала вершины. Вышел Хасан во двор – сердце замерло.

Не шумной толпы, не песен не услышал он.

У ворот, в холодном предрассветном сумраке, стояли семь всадников. Коней взмылили, сами в полной боевой сбруе, лица напряжены, руки на эфесах. Дышат паром, ждут приказа. Никто больше.

Подошёл Хасан, горечь в горле встала:

- Где же остальные? Где Магомет, с которым я десять зим овец вместе пас? Где Руслан, с которым на медведя ходили? Где все те, кого я другом звал, с кем кумыс пил и на джигитовке скакал?

Тут вышел Джамбулат. Медленно, опираясь на посох. Обвёл взглядом этих семерых – запылённых, серьёзных, настоящих. Положил руку на плечо сына, и голос его прозвучал тихо, как шепчут камни на вершинах самых высоких из гор:

- Не печалься, Хасан. Не о свадьбе я весть послал, а о бое предстоящем, тяжком и жестоком. Вот и явились лишь те, кто действительно твоими друзьями является. Остальные, кто не пришёл на зов о помощи, когда думал, что тебе грозит смертельная беда, - тот и на пиру тебе не друг. Он – просто знакомый. Сосед. Друг – это тот, чьё плечо ты чувствуешь за своей спиной не только в пляске, но и в драке. Вот они – твои плечи. Семь – число крепкое. Такие сотни стоят.

Стоял Хасан, смотрел на этих семерых мужей, что бросили свои дома, поверили вести и примчались, готовые за него кровь пролить. И понял он. Понял всей душой. Горечь сменилась такой тёплой, крепкой благодарностью, что сильнее любой радости.

И свадьба его была не просто весёлой. Она была настоящей. Потому что пировал он не с толпой, а с братьями. С теми, кому мог в глаза смотреть, не опуская взгляд. С теми, чью клятву и чью помощь он отныне знал, как знал линии на своей собственной ладони.

Не даром в горах говорят: «Не зови друга на пир – зови на дело. Тот, кто пришёл на дело, достоин и пира. А тот, кто пришёл только на пир, - не всегда достоин даже места за твоим очагом».

Вот тебе и весь сказ, молодой княжич.

Вот и весь сказ.

Сказ о человеке, который сам всего добился

Жил в горном ауле, зажатом меж двух хребтов, торговец по имени Алибек. Говорили, что не было в тех местах человека удачливей и сметливей. Караваны его, словно ручьи, текли по торговым тропам, неся шелка, пряности и звонкую монету. Сундуки его ломились от золота, а слава о его оборотистом уме летела быстрее горного ветра.

Но вот однажды, когда первые жёлтые листья поплыли вниз по ущелью, на сердце Алибека села чёрная птица тоски. Сидел он на аиване своего белокаменного дома, смотрел на свои владения, а в душе скреблось:

- Всё это… пыль. Вся жизнь – как на базаре: выторговал, перепродал, обманул, чтобы не обманули. Родился я в старой сакле, где дым от очага ел глаза, а отец мой, честный пастух, считал богатством – выжить зиму. Будь у меня с пелёнок то, что есть у меня сейчас… о, тогда! Тогда бы не торговал я, а правил. Не аулом – ханством! Ибо ум мой остёр, а воля – тверже гранита. Вся беда, вся несправедливость, что поднимался я с самого дна, и каждый шаг в гору стоил мне крови. Какая уж тут слава, какое величие, если к сединам я получить сумел, что иные с рождения имеют?

Говорил он это в пустоту, а рядом, в тени виноградной лозы, сидела жена его, Зарима. Пряла она шерсть, и веретено в её руках вращалось с тихим, мудрым жужжанием. Руки её знали цену и тонкой нити, и грубому ковру. Не поднимая глаз, она сказала голосом, тихим, но резавшим, как хорошо отточенный ятаган:

- Алибек, свет моих очей. Ты смотришь на вершину и видишь только то, чего нет. А ты посмотри под ноги. На тропу.

Он обернулся, нахмурив седые брови:

- Какую ещё тропу? Я о судьбе говорю!

Зарима положила веретено. Подняла на него глаза – глубокие, спокойные, видевшие и его первую палатку на базаре, и первые слёзы от неудачи:

- Тот, кем ты хочешь родиться – богатым наследником, баловнем судьбы – он уже был. И не раз. Абдулла, у которого ты, мальчишкой, мыл котлы. Его отец был богат, владел половиной пастбищ. А сам Абдулла промотал наследство на скачках и женщинах. Ты купил у него первый свой тюк дешёвой шерсти в долг, который он так и не вспомнил. Ты помнишь юного Ислама, сына кадия? Он родился в почёте. Ты бился с ним за право поставить лавку на площади. Он полагался на имя отца, а ты – на упрямство и смекалку. Чья лавка стоит там теперь? Твоя. Где теперь Илам? Где все те, кто родился на той вершине, куда ты так жадно смотришь? Родись ты среди них – стал бы одним из них. Ты стал бы Абдуллой-мотом. Стал бы Иламом-неудачником. А может, и хуже – изнеженным князьком, чью волю сломала бы первая же неудача.

Она помолчала, давая словам впитаться, как дождю в иссохшую землю:

- Твоя сила, Алибек, в том, чего у тебя не было и в том, что это тебе дало. Ты не занял чужое место. Ты выдолбил своё в скале жизни. И знай: тому, кто родился в золочёной колыбели, мир не покорить. Он для него с пелёнок – данность, пресный, как несолёная каша. А вот мир непокорённый, дикий и суровый, покоряется только тому, кто знает цену каждому выдолбленному в камне

уступу, каждой заработанной монете. Твой трон – не золотое кресло, переданное тебе твоим родителем. Твой трон – это вся тропа, что за твоей спиной, это ты сам. И поэтому сидишь ты на нём прочнее любого хана, ибо этот трон из тебя самого и вырос.

Умолкла Зарима.

И по лицу Алибека, суровому и усталому, поползла тихая улыбка обретенного покоя. Чёрная птица тоски вспорхнула и улетела, не оставив и пера.

- Спасибо, Зарима. – сказал он просто. – Ты – мой самый честный казначей. Ты сосчитала моё истинное богатство.

Мудрость в том, чтобы оглянуться и увидеть, что твой главный капитал, твоя слава и твоя крепость – это не то, что тебе дали, а то, что ты сам, своими руками и волей, возвёл на голом камне. И это построенное – не отнять, не купить и не променять. Оно – навсегда твоё, ведь оно и есть ты.

Таков мой тебе сказ, молодой княжич.

Дорога, как и сказы, подошли к концу.

Притихли и братья Ветра – боялись не услышать последние слова, что спутники готовились сказать молодому княжичу.

Мальчик не плакал, даже понимая, что дальше смертным нет хода.

Дальше, в Небеса, что касаются своей рукой почти осыпавшейся башни, ему идти одному, и всё, что он может с собой унести – лишь слова.

- Молодой княжич, - негромко сказал дед Свирид, - ты постарайся не забыть наши сказы. Постарайся не забыть, даже если предстоит стать богом.

Умар-эфенди медленно, торжественно добавил, и его голос прозвучал как эхо, рождённое в самой глубине мира:

- Особенно если предстоит стать богом, молодой княжич. Особенно если предстоит стать богом.

Княжич не ответил.

Он кивнул.

Коротко, по-мальчишечьи.

Потом развернулся и пошёл по дороге, что вела в Небеса.

Так человек становился богом.

Внизу два старика долго смотрели вверх, молча прощаясь со своим молодым княжичем.

- Пойдём, брат. – сказал наконец дед Свирид. – Наше дело сделано.

- Сделано. – согласился Умар-эфенди.

И два старика пошли к догорающему костру, к людям, что их ждали и Ветер гулял-погуливал в жаркой летней ночи.

Разносил по степи дух да полынь.

Дух – горький, как старая память, а полынь – терпкая, как сама молодость, что ушла.

Ветер словно перебирал травы: вот чабрец пахнул, напоминая о доме, оставленном где-то за спиной лет, - да не повернёшься, не взглянешь. Потом мяту подбросит, да гарью от костра – знакомой, смачной, домашней.

Пригляделся.

Среди старых крепостных развалин огонёк пылает.

Пляшет он, неугомонный, светлые тени на камни кидает, до самого звёздного неба языками лижет – дотянуться хочет.

Не дотянуться.

Да огонь не сдаётся: горел так вчера, горит сегодня, и завтра будет гореть, пока последний уголёк в золу не превратится.

А возле огня – народ собрался.

Кто у котла хлопочет, кашу заваривает.

Кто на валуне примостился.

А кто и в тени притаился – только глаза горят, будто у степного волка.

Ветер и присмирел от удивления – невидаль такая!

Странная компания – и не разобрать, кто такие и откуда.

Запела где-то гитара, тоскливо, по-чужому.

Присел Ветер на корточки, слушает: о чём это они в ночи летней беседу ведут?

- Плох тот атаман, что не скачет впереди своих людей да на вражьи пушки. - пробасил мужик, что у огня сидел, да к котлу не притрагивался.

Года ему дашь под семьдесят.

Лицо – в морщинах, будто осенняя дорога после обоза.

Не то чтоб дряхлый – кряжистый, прочный, словно старый дубняк, что в землю врос. И осанка в нём – былая выправка чувствуется, плечи колесом, спина – в струнку.

- Расскажи сказку, дед Свирид, расскажи. – закивал мальчуган, что сидел чуть поодаль.

Одет мальчишка был побогаче собравшихся, да и годился многим из них не то что в дети – скорей во внуки-правнику.

Усмехнулся дед Свирид не губами – одними глазами, светлыми, как глина в обрыве. Взглянул на мальца из-под бровей густых, ещё с проседью:

- Это у вас, молодой княжич, там сказки разные, о тишине, о Конраде из Долиной Тимьянной, о волках и зверях иных, что голосами людскими молвить могут. У меня же сказы – про людей наших, про землю нашу, про царя, про панов, про правду да волю.

- Дед Свирид… - опять протянул мальчуган.

Попыхтел старик трубкой.

Усы у него – седые, пышные, по-старинному вниз опущены. Борода – лопатой, хоть и пообтёрлась на ветрах.

- Что ж – слушай, молодой княжич, да памятуй: что мудрого – в закром души клади, пригодится. А что пустое – мимо ушей пропускай, словно ветер степной…

И пошёл дед Свирид сказы сказывать.

А внизу, в плавнях, шумел камыш, да вода о берег билась, подпевала.

СКАЗЫ ДЕДА СВИРИДА

Сказ о вольных людях

Дам я, княжич молодой, правду коренную, что от прадедовы мои в ухо шептали. Было то в стародавние годы, когда земля наша стоном стонала под сапожищем царей-королей, панов-ляхов да своих же, продажных душегубов.

Жил тогда на свете один Хлопец. Не царь, не князь – Вольный Хлопец. Дух в нём горел, как пламя в бурю, - не укротить, не затушить. На управителей мира да владелей душ людских глядел – не робел.

Проведали про того Вольного Хлопца цари да короли.

Задрожали.

«Як так?! Один – и не боится? Воли нашей не признаёт?» Решили его извести, как волка в степи затравить. Схватили слуги царские, кинули в каменный мешок, в темницу, где сырость со стен течёт. «Нехай, - мнилось им, - камень силу его высосет, холод сердце заморозит, темнота очи ослепит, а там и сам Смерти в объятия запросится».

А Вольный Хлопец за стенами – не гас. От холода – ещё жарче пылало его сердце. В темноте – светлее думы про волю становились.

Пуще того озверели цари-короли.

Сослали Вольного Хлопца на самый край земли, в снега студёные, куда и солнце – редкий гость. Мнили им – сломится. А он пришёл, оглядел белое безмолвие да и говорит людям унылым: «А здесь, братцы, добре! Воля тут – как воздух, чистая!» И зажёг в них ту же искру. Стали они жить-поживать, будто солнце

незакатное средь них поселилось.

Видят цари-короли – не берёт его ни тюрьма, ни ссылка. Собрали тогда змей подколодных, гадюк ядовитых, шепчет им: «Повзите, ужальте Вольного Хлопца, обескровьте его, а мы Смерть покличем, чтоб забрала она уже его с собой».

Отравили гады склизкие Хлопца Вольного.

А тут и Смерть явилася.

Хлопца Вольного узнала – не раз видились.

- Помоги мне, Смерть-Смертушку. Честь окажи последнюю. – сказал Хлопец Вольный. – Разнеси огонь, что в груди моей пылают по миру, - людям добрым на подмогу, а дурным на погибель.

Промолчала Смерть да просьбу выполнила.

И пошли от того огня мы, люди вольные.

Вот потому, молодой княжич, и скачем мы по степи да не кланяясь ни царю, ни паше – Смерть нам за матерь, а Хлопец Вольный за батюшку.

И пока огонь этот в сердце живёт – никто над нами, людьми вольными, власти не имеет.

Сказ о ведьме

Было это, молодой княжич, давно.

В лихую годину, когда степь нашу топтали вражь кони.

Пришла пора и Ивану землю родную защищать.

Стал он в поход готовиться, что назавтра был назначен.

А как ночь настала, да все заснули, зажгла Марийка, жена его, светец одинокий, достала холстину тонкую, что сама на станке выткала. И взяла в руки ножницы – косу свою, девичью красу, густую, русую, отрезала да принялась вышивать. Не узоры затейливые, а оберег древний, знаками, что ещё прабабки её помнили. Вплетала каждый волос с молитвой шёпотной, с тоской такой, что и камень бы заплакал. Всю свою силу девичью, всю любовь безграничную, всю тоску в ту сорочицу вложила.

- Носи, - шептала, - милый друг, на самом теле, под рубахой. Пусть бережёт тебя от лиха всякого.

Ушёл Иван поход и осталась у него в курене молодая Марийка. Провожала его молча. Слёз на люди не показывала.

Бились люди вольные со степняками чёрными.

Да смогли напасть отогнать.

Вернулся Иван, наконец, в родную станицу.

Весь в шрамах да в пыли степной.

Вошёл в курень.

Стал снимать рубаху походную, а под ней… та самая, сорочица, волосами вышитая, шёпотком заклятая – посерела, измочаленна, исполосована, как земля после сохи, изрублена, будто щит в самой сече лютой.

Обняла Марийка мужа, своего вернувшегося, шрамами обросшего, но всё ж выжившего.

А всё оттого, молодой княжич, что все бабы – как есть ведьмы да не все в том сознаются.

Сказ о том, как царь вольным людям море заповедовал

Было это, княжич молодой, ещё при царе Петре Алексеиче, государе могучем, да на людей вольных косо глядевшем. Разгневался он на людей наших, на вольных.

И стал гонять он нас как пыль степную буря.

Да не таковы вольные люди чтоб их ветер гонял по степи – пошли они к синему морю-кормильцу да скрылись в волнах от полков царевых. Не угнаться не достать людей вольных под парусами белыми по морю ходящих.

Царь, проведав про то, вскипел, будто котел медный на сильном огне. Не стерпел, что рука его государева до нас, по волнам бегущих, не дотянулась.

Вышел он на крутой яр морский – такую круть, что и орел с разлету не свернёт. Снял с перста своего перстень тяжкий – печать-то самую царскую. Поднял

высоко, да так, чтоб солнце в нём заиграло, и грянул на всю морскую ширь, громоподобно:

- Слухайте вы, люди вольные! Отныне и до века заповедь даю: покеда сия печать моя с морской пучины не всплывёт – вам по сему морю не ходить под парусами своими белым! Море для вас – заказано! А кто ослушается – так тот изменник Родины есть.

Бросил он печать в самую сердцевину волны, где пучина самая чёрная. Плюнула пучина, приняла царский дар, да и затихла.

Навеки.

А люди вольные с моря на всё глядевши, думу горькую думали.

Глаза у стариков, что видали и лихо, и долю, потухли: как же без моря-кормильца? Рыбы не добыть, на «чайках» не погулять? Кончина вольнице славное…

Да не перевелся ещё на земле нашей человек с умом хитрым да с волей крепкой. Вышел на круг Савелий, по прозвищу Хитроум. Встал в середине, глазами, ястребиными, всех оглядел:

- Братцы! Царь молвил: «Не ходить!». А он – слово держит, железное. Так не будем же ходить!

Мы на него смотрим, диву даёмся: с ума, что ли, спятил? А он усмехается, будто кот сытый:

- Ходить не будем, а ползать – будем! Царь про «ходить» говорил, а про «ползать» - ни полслова!

Так и положили на кругу.

Сшили мы паруса не из белого царского полотна, а из холста серого, буднишного. И не ставим их на мачты, а прячем на дно лодки, про чёрный день. Гребли вёслами, тихо-тихо, под самый шёпот волны, чтобы и чайка морская не слыхала.

Море-то бороздили, не ходя по нему, а ползая, утробой его чувствуя, как жуки водяные.

И ушла царская воля – ко дну морскому, во тьму. А смекалка людей вольных – по верху, на солнышке ясном да на ветру добром.

Ходим… то есть – ползаем, по морю и посейчас.

А печать та… лежит она, слыхать, в хоромах у морского царя, на самом дне. Пущай себе лежит, греет пучину.

Вот те и весь сказ, княжич молодой.

Не нарушили мы заповеди царёвой. Букву её – соблюли до точки, но и душу свою вольную – сберегли в целости.

Сказ о двух братья

Шёл раз Андрий Шепель, из наших, из вольных людей, из степных.

С дальней заставы шёл Андрий.

Не сам шёл.

Конный, оружный.

А навстречу ему, из теснины каменной, где орлы гнездятся, Аслан выезжал – горец, из тех, с которыми давно уж мира не было.

Сошлись они у камня межевого.

Взгляд встретился со взглядом – и рука у каждого сама к шашке легла, по привычке вековой. И застыли, как два изваяния.

А шашки-то у них, глядь-погляди, - словно с одного коваля вышли: клинки булатные, синевой отливают, рукояти – из рога тура горного, обвиты серебром. И одеты оба по-воински: черкески, хоть и разного сукна, кинжалы за поясом. Стоят, меряют друг друга молча. И вдруг усмешка тронула губы Андрия, суровые, в трещинах, как земля в засуху:

- Прямо как два брата одной матери да бедой разлучённые, людьми разными взращённые.

- Так и есть. – отозвался Аслан, и суровость с лица его, будто лёд весенний, тронулась.

Слезли они с коней, не спеша, подошли друг к другу – и обнялись крепко, по-мужски, так что кости хрустнули. Ни клятв, ни обетов кровных не давали – к чему они, когда душа с душой говорит на одном языке, без слов? Только

обменялись тем, что для воина дороже жизни и чести: Андрий Аслану свой кинжал отцовский протянул, с рукоятью из ореха, а Аслан Андрию – свою шашку дедову, с именем на клинке, что вязью выведено было.

Испили воды из одного бурдюка, тронулись в путь – каждый в дом свой.

Но был у них уговор такой, без слов, без послов, без записей.

Раз в год, в ту самую ночь, когда спадает летняя жара и с вершин первая прохлада, словно стадо белых овец, в долины спускается, встречались у камня того межевого, что стоял на кургане, поросшем полынью да чабрецом.

И пошла от той дружбы тропа.

Не широкая, как царская дорога, а узенькая, как след оленя в горах. Но – крепкая, нерушимая, как слово вольного человека.

По ней шло уважение меж степной станицей и горской саклей.

Не всегда лад был между народами степей и горд, бывало, туча чёрная налетала, сабли звенели, кровь лилась. Но не зарастала та тропа, потому как проложили её не князья и не генералы, а два воина на перепутье, узнавшие в лице чужом – брата.

Так и живут они, молодой княжич, и доныне.

Сказ о том, как шиш степной умаялся

Было это, княжич молодой, не то что бы недавно да и не давно то было.

Стоял в дозоре Василь Бокон у кордона.

Ночь – светла, что день. Звёзды-зорницы над головой горят россыпью ясной, а под ногами – шелест ковыля да незнамо что.

Стоит человек вольный Василь бережно.

Глядь Василь – а впереди, над самым обрывом, огонёк манит. То вспыхнет, то погаснет, то в сторону уведёт, будто говорит: «Иди сюды, мол, тут тропа протоптана». А Василь знает – нет там тропы! Яр глубокий, пропасть.

Понял он: то не огонёк, а шиш.

Шиш - он не черт, не из печной трубы, как иные молвят. Он – дитя степи пустой. Родится от скуки да от марева солёного, когда на сто вёрст ни души человеческой. Дело его – людей с пути сбивать, коней пугать, в блудящие огни превращаться. Сила не святая, да и не грешная особо – степная она, вольная, до ветра хитрая.

Вспомнил Василь науку дедову: шашкой шиша степного не взять – обозлишь только, бранным словом не пронять – себе же хуже. С ним надо, как с лихим, но глупым соседом: без страха, да и без поноровки лишней. Да правду свою держать крепко.

Подошёл Василь к огоньку:

- Гляжу скучно тебе, браток, в степи? Дела, видать, у тебя никакого? Вот и маешься.

Огонёк замедлился, будто прислушался.

Достал Василь люльку, раскурил не спеша.

Говорит снова:

- Подь-ка сюды, братец, поболтаем коль не спится.

И вышел из тьмы не страшилище рогатое, а так… недотёпа седой, не то старичок, не то перекати-поле клубом… недоразумение одно – шиш степной.

- А что с тобой болтать, вольный ты человечек? Ты шашкой меня оприходуешь иль браниться станешь.

- Делать мне нечего. – усмехнулся Василь, сощурился. – И ты, поди, от нечего делать маешься. Так давай, дело соорудим – всё ж веселее ночь покажется.

- Какое дело? – заинтересовался шиш, а сам поближе подкрадается.

- А вот, гляди, - место тут ладное, пригорок. А воды нет. Выкопай-ка мне колодец. Да не абы-как, а чтоб водица студёная, целебная была.

Фыркнул шиш, но делать нечего – скука его, как ржавчина, точила. Завертелся на месте, засвистел, поднял вихрь сухой – смотри-ка, а колодец уже стоит, сруб липовый, а в нём вода так и звенит, серебром переливается.

Умылся Василь, напился.

- Ну, спасибо. А теперь, брат, будь другом, хату-мазанку мне состой.

Заскрипел шиш да взялся – правда ведь делать нечего, от скуки маялся. Стоит новая хатка-мазанка, под соломенной крышей, с голубцами да ставнями резными. Загляденье.

- Вот теперь славно. - говорит Василь, кругом обходя. – Да без соседей в чистом поле жизни – не жизнь. Так что давай, браток, хаты и друзьям-знакомым моим сострой-сладь.

Зароптал шиш степной да за дело взялся.

И хуторок к рассвету сладил славный.

Улыбнулся Василь – шиша хвалючи да предложил тому ещё сад разбить, а то какой хуторок да без сада с яблонями-грушами?

Тут уж шиш взвыл:

- Садочок?! Груши?! Да у меня, Василь, от твоих хат да колодцев уже дела по маковку! Я ж, понимаешь ли, дух вольный, степной! У меня свои заботы! Некогда мне с тобой тут балякать!

И – трах!

Рассыпался искрами.

Не стало его.

Только ветер по степи гуляет да всходит, новым хутором полюбоваться спешит.

Вот так-то, молодой княжич, кто власть имеет, а кто смекалку.

Сказ о станице Заложной

Слухайте, молодой княжич, и запоминайте крепко.

Ехал вольный человек один зимней порой со службы дальней.

Застигла его в голой степи пурга – не та, что Зимушка-Зима зачинает, а та что приключается, когда Карачун ярит. Вихрь белый, слепой. Ни неба, ни земли. Сбился с пути, конь захрипел и мёртвым лёг. Оставил он коня да сам идёт.

Замёрз и чует, что сил уж нет – стал в мыслях с женой да детками прощаться, как вдруг – видит сквозь снежную круговерть: огни. Мерцают. Будто станичные окна. Обрадовался. Побрёл к огням.

Станица как станица: мазанки белые, занесённые, дымки из труб стелются. Подошёл к крайней хате, в окне свет, постучал обледенелой рукавицей. Вышла женщина, не старая, не молодая, лицо спокойное да приветливое.

- Заходи, зазябший, погрейся. – говорит голосом тихим, без печали и радости.

Вошел.

Тепло.

Печь горит.

Пахнет хлебом свежим да борщём наваристым.

Отогрела его, накормила да спать уложили.

Поутру предложила припасов да коня дать, чтобы в путь мог тот вольный человек отправиться.

А пурга меж тем не утихла – лишь сильнее ярится.

Попросил человек ещё остаться.

Согласилась добра женщина.

На второй день тоже само было.

И лишь на третий, когда пурга поутихла, покинул вольный дом тот и станицу, благодаря за жизни спасение, за коня и припас.

Обещался вернуться с благодарностью-гостинцами да отказ получил.

Въехал тот вольный человек в свою станицу.

Едет, дивится: и улицы вроде те, да не те, хат новых много стало, а народ не узнать-не признать – всё лица новые.

К своему куреню подходит. А на крыльце с коромыслом возится старуха седая. Глянула на него, глаза вытаращила, руки к лицу прижала:

- Микита… Родной ты мой… Аль это сон? Тебя ж… тебя ж тридцать зим как в степи без вести пропащим считают.

Тут его, как обухом, по темени.

Опустился он на снег у родного крыльца, встать не может.

Знают у нас про станицу эту.

На картах её нет, в реестрах не числится.

Стоит она на самой грани.

Туда, бывает, выходят те, кого степь съесть хотела.

Приют им станица даёт, тепло, хлеб живой.

Но плата за то немалая. Каждый день там за десять здешних идёт.

Вот и думай, княжич молодой, - что оно лучше в степи сгинуть или в дом вернуться, что тебя позабыл.

Сказ о колечке для императрицы

А было сие, молодой княжич, при матушке-государыне Катерине Алексевне, что сейчас Великой зовётся.

Сидела она в Петербурге каменном, в золоте да бархатах. Пиры вершила, законы писала руками своих советников да фаворитов-наушников.

А государству, как водится, ширь да порядок надобен.

Пришли к ней сановники, дьяки приказные, говорят:

- На Югах необъятных, матушка, народ живёт особливый. Землю пашут государственные, сабли носят, а в реестрах числятся спустя рукава. Вольничают. Непорядок. Надобно их, как прочих хлебопашцев, к земле приписать, в оклад ввести, атаманов над ними монаршией рукою поставить, чтоб отчёты знали да подати платили исправно, без обману.

По сути-то, значит, наших, людей вольных, в крепость, в неволю тихую, обратить задумали.

Услыхала то императрица Катерине Алексевне – в раздумье впала.

Дело казённое, государственное, посему – нужное, да махнула рукой, дозволяя:

- Быть посему. Указ изготовить.

А там как раз на её именины пир горой затеяли.

Со всех волостей лицедеи, скоморохи да песенники съехались, потешать государыню. Среди них был один, Васькой звали. Родом он был с наших краёв, душа в нём – ветер степной, воля – неукротимая. Дошла до него весть про указ затевающийся – что нож острый в сердце воткнули. Видит – бояре пируют, смеются, а императрица в конце стола, словно солнце, восседает, указ тот уж позабыт – иные заботы и думы в голове монаршей.

И поднялась в Ваське та ярость, что смерти не боится. Не стерпела душа вольная, что из братов его рабов сделать задумали. В самый разгул веселья, он – прыг-скок! – да в один миг на стол императорский дубовый!

Загремела посуда, застыли бояре, стражи рукояти сабель сжали.

А Васька колесом прошёл по скатерти персидской мимо яств заморских, прямо к самой имениннице. Схватил со стола перед государыней нож серебряный, тонкий, изящный, что для фруктов иноземных лежал. Глянул на императрицу, на Катерину Алексевну, а в очах её и молния гнева, и искра любопытства: мол, что за буян таков?

И начал он нож тот в руках у него плескаться, будто рыбка-малёк, пойманная. Затянул Васька песню старинную, плавную, про речки наши степные, про волюшку, про людей, про наших. И под ту песню, на глазах у всего света, стала рыбка серебряная – нож форму свою менять. Не ломал Васька его, не коверкал – он волю свою в то дело вкладывал. Гнул, крутил, ладонью выравнивал, будто глину мокрую. И стало послушно серебро, мягче воска, покорно воле человеческой, воле вольной.

И обратился нож кольцом.

Простым, без затей.

Притихла палата, будто вымерла.

Протянул Васька императрице-матушке кольцо, поклонился не по-холопски, а по-вольному, с достоинством, и положил это кольцо ей прямо на ладонь белую, перед чаркой хрустальной.

- Прими, матушка-государыня, дар от человека вольного – кольцо простое. Круглое оно как свет белый и как у света белого да воли – нет у него ни начала, ни конца.

Взглянула Катерина Алексевна на кольцо.

На скомороха загорелого.

На рожи бледные сановников.

А потом взяла, надела серебряное колечко на палец свой.

Подняла руку – и весь народ увидел.

- Указ, - изрекла она тихо, но так, что в каждом углу отозвалось, - отставить. Не быть вольному люду в крепости.

И с тех пор, молодой княжич, хоть начальство над нами и было, хоть законы менялись, но той петли крепостной на нашей шее вольной не затянулось, а кольцо то серебряное императрица-матушка наша Катерина Алексевна своему наследнику передала – как память о том, что есть на свете то, что ни купить, ни приказать, ни отнять нельзя.

Сказ о том, как поминки Грицько Бурьяна справляли

Не к ночи мой сказ, да не малец ты, молодой княжич, поэтому слушай уж.

Сидели наши люди, люди вольные, в курене после тяжкого дела – похоронили хлопцев славных, в сече степняками посечённых-порубленных. Только смолкли наши думы – а дверь скрыпнула без стука.

Входит Грицько Бурьян – весной прошлой в полон уведённый.

Смотрим – и кровь в жилах в лёд обратилась.

Как есть – Грицько Бурьян: поступь медвежья, шрам над бровью, от шашки остался, глаза – два углинка чёрных, горят. Скинул бурку, поздоровался голосом тем самым:

- Заждались, чи шо?

И к столу идёт.

Только ум шашки острее у людей вольных.

Первое: вошёл без оклика, хоть это не в обычае у живых. Другое: глянул я исподлобья на пол у печи – а от него, от гостя, тени нету. Совсем. Будто солнце его не признаёт, а только огонь наш, курный, на него глядит. И тревога, как гадюка подколодная, под сердце заползла.

Сидит он меж нами, байки старые травит, про набеги вспоминает – всё верно гутарит, всё знает

Позвали мы его ужинать – бабы солянку, с дымком, на стол поставили. А он ложку в руки взял, покрутил-покрутил да так и положил.

- Не дюже я голоден. – отмахнулся.

От общей чарки горилки отпил – и то, пригубил лишь, будто вода ему полынная показалась. Живой вольный от братского котла не откажется, а от хлеба-соли – и подавно. Поняли мы – сгинул наш Бурьян в стороне чужой, а душа его неприкаянная, «навья» это самая, домой воротилася.

Старый дед Щербатый, что в углу молчал, на меня взглядом тяжёлым, как свинец, ткнул.

Понял я.

И встал я тогда и голосом громким, нараспев, чтобы вся нечисть подпольная слышала, сказал:

- Завтра, как первые петухи, справим ещё одни помины. По всей строгости, по обычаю. И ты, друг Грицько Бурьян, приходи, а пока посидим, погутарим. Дела былые вспомним.

А наутро, как сказал, так и сделали.

Поставили на стол кутью с мёдом, блины на блюде. И отдельно для Грицько Бурьяна. Но не просто так. Опрокинули чару вверх дном – чтоб не пил. Ложку и нож – крест-накрест поверх тарелки – чтоб не ел. А сверху – горбушку чёрного хлеба, да щепотку соли на него – покойнику на дорогу в иной мир.

Вошел он, наш Грицько Бурьян, в курень. Уселся за стол на место указанное, да увидел ту чару опрокинутую, что только покойнику ставят. Лицо его, живое лицо Грицька, стало будто восковое, глаза в пустоту смотрят, в пропасть. Понял. Понял, что место его здесь, среди живых, занято памятью, что смерть его признана и может он свет белый покинуть.

Посмотрел он на нас долгим, тихим взглядом.

Не то с укором, не то с благодарностью.

А потом повернулся и пошёл к двери.

Не открыл он её, а словно дымом растаял в луче скупого утреннего солнца.

Только холодком от того места потянуло, как из погреба, да петух на заборе, на зорьке, прокричал трижды – отгоняя.

Вот такая бывальщина.

Жуткая. Но правдивая.

А тебе, молодой княжич, наука – мало страха страшнее, чем мертвяк о смерти своей не ведающий да меж нас, меж живых, бродючий.

И что б помнил ты, молодой княжич, - коли придёт кто без тени, так не гони его криком, не пугай железом.

Пригласи его на его же поминки, да покажи ему опрокинутую чару. Пусть видит, что путь его в мир живых – окончен, и возвращается туда, где ему положено быть. А нам, живым, - помнить да по усопшим тризну править, честно, по-людски, чтобы душа их не скиталась меж мирами, а покой обрела.

Сказ о бесе, что в кости проигрался

Слыхал я, от людей слыхал, про вольного одного. Захарко Беспалый его звали. Был казак лихой, удалой, да нрав – что порох в запале: вспыхнет – и свету белого не взвидишь. А более всего любил он в «бабки» играть, в кости барановьи. Играл и с нашими, с вольными, и с иногородними, а уж как хмель в голову ударял – так ему и бес не брат.

И случилось раз, после великого праздника, заночевал Захарко в буераке один, под звёздами. Вытащил кости, да с тоски ли, с удали ли, крикнул во тьму:

- Эй, нечистая сила! Аль и тебе, рогатому, костей не на что поставить?

И вышел из мрака, из-под корня вербового, бес. Не велик, ростом с подростка, рожки кривые, хвостик плетью.

- А что ж, - говорит сиплым голосом, - сыграем. Только ставка – не гроши. Мне твои гроши ни к бесу не сдались. Четыре года службы. Кто проиграет – тому и служить.

Захарко пьяной храбростью вздыбился:

- Давай!

Кинули кости.

И вышло так, что бес проиграл. Совсем. Со всей своей бесовской удачей.

Пришлось тому бесу, скрипя зубами, в холопы к Захарке идти. Отбывать срок.

И пошла служба бесова.

Сперва на него, как на диковинку, смотрели: бегает, хвостом поджимает, работу справляет. А работал он, надо признать, не в пример усерднее иных. И умён был до жути: подскажет, как скот от падежа уберечь, как хлеб в закромах от сырости сохранить. Горилку любил, да и сало уплетал за обе щеки – точь-в-точь наш брат.

К концу первого года уже ему скотину на выпас доверяли.

К третьему году он у Захарки не работником был, а правой рукой. И не только у него – у всего хутора. Все к нему за советом шли. Бес-советник, понимаешь ли. И доверие к нему выросло такое, что не всякому человеку снилося.

Настал и четвёртый год.

Последний день отходит.

Проснулись хуторяне утром – тишина.

Не слышно привычного стука, беготни.

Вышли – пусто.

Амбары – пусты.

Скотина – вся, до последней овцы, пропала.

И беса – след простыл.

Только на пороге у Захаркиной хаты лежали те самые кости, в которые они четыре года назад играли.

Собрались мужики, стоят, молчат.

Кулаки сжаты, а бить-то кого? Себя, что ли? Кого винить-то? Беса? Так он свою службу честно, по уговору, отработал. А уж как отработал – это его, бесовская, работа была.

Вот так-то, молодой княжич, не думай, что ты беса за хвост поймал, коли не ведаешь, - какую он с тобой игру затеял. Смотри не на первую кость, что кинута, а на ту, что он тебе под ноги на последнем году подкинуть может. Оно-то,

может, и не ты его в кабалу взял, а он тебя, да весь твой род.

Сила бесовская ведь не в рогах, не в хвосте, не в чудесах его.

А в расчёте его тонком.

Да в твоём недосмотре.

Да в глупости… и в гордости твоих…

Сказ о суженой с того света

Жил у нас хлопец один – Остап Чигирь.

Парень хоть куда, лихой на коне, работящий в поле, да только счастья в любви ему не судил ему Бог. Отшила его девка, на которой душа изболелась. И напала на него тоска чёрная, как осенняя ночь в степи, - свет белый не мил.

А тут как раз день его рождения настал, именины. Сидит он за столом один, с полуштофом горькой правды, а друзья-товарищи вокруг обступили:

- Ну що ж ты, Остап, все один? Пора б вже и жёнку сыскать!

А ему каждое слово – что ножиком по нутру. И с горя, а может, с удали, хватил он чару, грохнул кулачищем по дубовому столу да как гаркнет на всю хату:

- Та женусь я на первой, кто в оконце постучится – нехай буде, что буде!

Посмеялись, побалакали, разошлись.

Ночь настала – тихая, степная, только сверчок запечный поскрипывает. Лёг Остап, да сном тяжким забылся.

Только заснув – чует – стук.

Тихенький такой, будто сова клювом в стекло.

Не придал значения.

А стук опять, яснее: тук, тук, тук.

Поднялся он, сердце вдруг заныло без вины. Подошёл к окну, занавеску отдернул…

И душа в пятки ушла.

За стеклом – дивчина стоит. Вся в белом, в подвенечном убору, фата длинная, до земли. А лицо – светлее месячного сияния, бледное-пребледное, очи великие, тёмные, как два колодца. И смотрит прямо на него, не мигая.

Окаменел Остап. А рука сама тянется, щеколду откидывает. Открыл окно, а от девчины тиною речной да студенем могильним потянуло.

- Что надобно? – выдавил Остап.

- Сам покликав. – голос у неё тонкий, звенящий, будто ручей. – Отпустил меня дедко Речной, хоровод девиц-утопленниц покинуть-оставить дозволил – вот я и явилася.

Пошёл холодный пот у Остапа по спине. Страх его сковал. Но что тут сделать? Слово дал. Отказаться – весь род опозорить, самому в очах людей и в своих ниже трави упасти.

- Так пошли – оженимся. – чубом свои тряхнул Остап да под руку невесту-утопленницу взял.

Пошли они тёмной улицей к храму.

Она – слева, не шагает, а будто плыве, платье по земле не шуршит.

И луна им солнцем светит – дорогу звёзды торят.

А у храма священник в окружении нечисти разной незванной-неназванной, да самым дедом Речным возглавленной.

Так вошли они в храм.

А так меж нечисти и люди вольные сидят да принарядились-улыбаются, будто и не видят вовсе, что деется.

Начался обряд.

А как дал Остап согласие своё, так потеплела рука жены его законной, да румянец щекам вернулся.

И не упопленица уж рядом с ним стоит – краще ясного сонця дивчина с ним стоит! Очи синие, як небо посля грозы, коса руса до пояса. Живая! Теплая!

С той поры зажили они душа в душу. Детей народили крепких. Любовь у них велика была, а Остап больше слов на ветер не бросал – всё больше жену свою

умницу слушал.

И ты, молодой княжич, за словами следи-послеживай – не знаешь какой отклик-окрик вызовут.

Сказ о каше из топора

Шёл это, сказывают, по нашей стороне человек один.

Не вольный, не наш, а залётный, проходной.

Шёл себе с войны, видать, - в рубахе вылинялой и сапогами пылью степной полными. Лицо – ветром степным выметено.

Завернул на ночлег в крайний курень, что на отшибе станицы стоял. Жила там одна старая Марфа Семёновна. Хозяйка была строгая, крутая нравом. Мужа да двух сыновей давненько похоронила. Сердце у неё с горя того закаменело. Милостыню просто так не подавала – не в обычае то было у неё.

Постучался солдат в дверь, голосом охрипшим:

- Хозяюшка-матушка, пусти переночевать, отдохнуть с дороги, краюшку хлеба…

А она ему из-за двери, не открывая:

- Иди своей дорогой, служивый, - самой есть нечего.

Тогда, мать, хоть водицы испить из колодца вашего да погреться у печи, сил набраться? – не отступил солдат.

Подумала, вздохнула, впустила.

Сидит он на лавке, видит – хозяйка сама не ужинает, а по избе ходит деловито.

Понял солдат – припасы есть, да не для всякого прохожего.

И задумал солдат хитрость военную.

Говорит:

- Ну, коли есть нечего, так я тогда, хозяюшка, хоть из топора твоего кашу сварю. Наш брат, солдат, этому обучен.

Уставилась на него Марфа Семёновна, очи прищурила да виду не подала, что хитрецов многих видывала:

- Из топора? Ну диковина. Давай, посмотрю я на это фокусничество.

Достал он свой походный котелок, налил воды из ведра, положил в неё топор хозяйкин – бух!

На огонь поставил.

Варит, помешивает, сам приговаривает:

- Эх, чую, будет каша - за уши не оттащишь! Только вот жаль…

- Чего жаль-то?

- Да соли бы щепоть.

Хмыкнула Марфа, махнула рукой – принесла соли.

Варится топор, булькает.

Опять солдат головой качает:

- Ох, и запах бы теперь… луковый, золотистый…

Понесла она ему и луковицу, душистую.

А дальше – то крупинки перловки «для основы, чтоб на дне не пусто было», то картофелину «для густоты», то сальца краешек «для духу, чтоб по всему куреню пахло, будто праздник».

Расстаралась, расщедрилась Марфа Семёновна – поняла, что пришёл к ней не простак, не нищий, а человек с изворотом да с шуткой в глазах. А это у в степях ценится пуще богатства. Смотрела на него уже не строго, а с любопытством, будто на внука озорного, которого давно не видала.

И когда уж котёл загудел на всю хату, запах такой пошёл наваристый, что слюнки текли, она ему сама, молча, в бульон лавровый лист кинула да перцу стручком ткнула:

- Без этого у нас не варят.

Ну, сварилась, значит, каша.

Сели за стол.

Наелся солдат досыта, щёки порозовели, глаза заблестели. Благодарность говорит, а Марфа Семёновна смотрит ему в очи прямо и говорит:

- Запомни, служивый: у нас, у людей вольных, коли гость с умом, с почётом, да с уважением пришёл – не то что из топора, из щепотки пыли дорожной можно кашу сварить.

И пошёл солдат дальше, а на душе у него светло стало, тепло. Будто не кашей одной, а самым что ни на есть родным теплом на весь путь дальний наполнился.

Вот так-то, молодой княжич, бывает, если с умом да с улыбкой к делу подойти.

Сказ о молодом лесе

А этот сказ, последний мой, молодой княжич, ты и сам, должно знаешь, да всё равно – послушай.

Было это на столице, во времена не столь давние, чтоб забыть, и не столь близкие, чтоб помнить. Царствовал тогда государь один. Имя его в сказе не главное, а суть – была. Сперва правил твёрдой рукой, да с расчётом, землю-матушку не обижал. А потом, видимо, лесть да спесь ему ум затуманили, как туман осенний лиман. Перестал карь-государь слушать мудрость, что от земли идёт, а прислушиваться стал к доброхотам разным, что шепчут да нашептывают из тёмных углов.

И пошли от него тяготы невиданные: с труд печных да окон налог стал брать. И людей – кого на каторжные работы, кого в солдаты навек. А пуще прочих на нас, на людей вольных, взъелся. Задумал царь, видно, корень наш подрубить, вольницу искоренить.

Перво-наперво: велел атаманов не на войсковом кругу избирать, а из столицы назначать. И прислали нам начальника – барчука молодого, что и с лошади-то упасть боялся, зато чванства в нём – на весь кош. Во-вторых: объявил земли наши заповедные, рыбные тони да сенные покосы – казённой собственностью. С своего же, с кровного, оброк платить! Это уж сердце у любого вольного оборотиться могло. Ну и в-третьих, что пуще горькой редьки: слух пополз, будто задумал он молодых девиц наших в столицу, для услуг дворцовых, забрать.

Тут уж терпению конец пришёл.

Собрался тогда на круг люди вольные, для думы кровавой.

Поднялся старый атаман, дед Порфирий, весь седой, как лунь:

- Не против государя или Родины идём, братцы. Идём против кривды. Коли он на волю нашу, на честь нашу да на хозяйство наше посягает – он нам не батька, а поезженец злой. Поезженцу – отпор.

Вскипел край.

Не разом, а по-нашему, степному – от куреня к куреню, как огонь по сухой ковылине. Не вилы поднимали – шашки булатные. Пошли опричь станицы от царских урядников да сборщиков освобождать.

А в самой столице, слыхали мы, смута поднялась. И народ, и бояре – на самого царя. И примчался к нам гонец, запылённый, с вестью: царя того в палатах его схватили свои ж, и суд у них скорый – казнить, яко тирана.

И встал на кругу вопрос, что острее любой пики:

- А отпрыск-то? Отрок, Феодором звать. Где он? Что с ним станет?

И поднялся говор-галдёж.

Одни, горячие сердцем, кричали:

- Всё зёрнышко горькое – чтоб плевела не осталось! И отросток – под корень!

Другие, старики да разумные, молча курили.

Потом поднялся есаул наш, Марко Однокий – прозвище за то, что в бою око потерял, а другим – за трёх видел:

- Стопыте, соколы. Слыхал я от людей бывалых. Отрок тот, Феодор, -тихий, книгочей, мать свою покойную, добродетельную, поминает. И от отцовых указов, слышь, сторонкой обходит. Не в ответе дети за грехи отцов. Не заслужил он казни.

И порешили: послать лихих да невидимых – проведать.

Повёл ту ватагу сам Марко.

Пробрались они в самую кутерьму столичную, ко дворцу. А там уж стражи нет, чернь гуляет, тащит кто что может. Нашли теремок царевича – а в дверях старый дядька, слуга преданный, с бердышом стоит. Последнюю твердыню держит.

Взглянул Марко на отрока – сидит в углу, бел как холст, книгу прижимает к груди, - и видит: страху в очах – полна чаша, а злобы – ни капли.

- Не убивать тебя пришли. – говорит Марко. – Спасать. Выбирай: здесь тебя либо за отцова растерзают, либо с нами судьбину новую отыщешь.

Вывели они его, в сермягу переодели, вынесли, как орлы птенца из змеиного гнезда.

Наутро по всей земле вопль: «Царевича убили! Душегубы!»

А царевич-спасённый меж тем средь людей сред наших, средь людей свободных жить стал.

Меж тем пошумело да утихло в столице.

Да там и решать стали – кому править страной надобно, кто в праве на то дело.

Хотели мы попервому, как люди честные, вернуть царевича спасённого да на трон отцовий усадить. Только заупрямился наш Хведько, - отказался скипетр и державу в руки брать – сабля вострая да степь привольная краше хлопцу показалися.

А там, как пора пришла, обженился Хведько с Марьей – девицой тихой как речка степная да столь же милой сердцу людей вольных.

И сказ мой, молодой княжич, не о том, что средь вольных людей с тех пор кровь голубая, право на трон имеющая течёт, а о том, что даже гнилое древо может дать побег здоровый, и людям знающим ещё постараться должно чтоб этот побег не перенял болезнь от родителя.

Ветер Степей с тоской оглядывался на оставшиеся за спиной ковыльные просторы, где на привольно было ему гулять.

Но не мог он отстать от этих странных людей – прикипел он сердцем к тем сказам, что сказывал под ночным небом старый дед Свирид. Слова того лились, как мёд, и пахли дымом костра, полынью и далью, что казалась такой близкой и родной и в тоже время той, в которой даже ему Ветру Степей никогда не бывать.

Приглянулся Ветру и молодой княжич, что слушал, не шелохнувшись, впитывая каждое слово, а наутро засыпал деда и спутников вопросами, острыми и ясными, как горный кристалл.

А ещё вела Ветра в эту сторону родная кровь.

Шли путники в гости к брату его, Ветру Гор и Ущелий.

Брат тот был нравом крут, порывист и шаловлив. То камень со скалы сгонит, чтоб грохотом эхо разбудить, то с плеча джигита бурку сорвёт да в пропасть швырнёт, то горстью колючего снега в глаза коню метнёт – испытать, крепко ли держит седло всадник.

Но любил его Ветер Степей брата своего. Любил за чистоту, что пахнет снегом и сосной. За голос, что звенел, как сталь о камень. За силу, что гнёт вековые ели.

Бывало, сходились братья на склоне меж равниной и тучей – и спорили до хрипоты: что краше, что вольнее? Степной раздольный простор или горная, к небу рвущаяся, высь? И от тех споров рождалась буря, да такая, что земля трепетала. Но братская любовь от того не слабела – крепла, как дуб, что ветры лишь корни его глубже вгоняют в камень.

На одном из таких привалов, у старой заставы, коих за спиной осталось не мало, когда костёр потрескивал, а звёзды висели низко-низко, дед Свирид, оглаживая бороду, молвил с хитрой и светлой улыбкой:

- Умар-эфенди, брат. Вижу я – земли мои, степные, позади остались. Чует моё сердце, пора мне умолкнуть, а тебе место моё занять. Пора тебе сказы начать сказывать – те, что земле этой каменной любы будут.

Сухой старик, чья голова была бела, как вечные снега на вершинах вечных гор, медленно кивнул. Глаза его, глубокие, как горные озёра, глядели в пламя.

- Как есть правда в словах твоих, брат Свирид. Голос степной тут смолкнет, а голос гор должен говорить о горах. Да будет так.

Сказ о тропе

Было это когда мир был моложе, а горы и звери ещё не разучились говорить.

Жил тогда в высоком ауле джигит по имени Лаго. Не было у него равных в удали: на скаку сонного тура за рога поднимал, шашкой рассекал летящую стрелу, голыми руками медведя в берлоге душил. И закипело в нём вино удали, затуманило разум. Стал он думать: «Кто может быть мне указ? Разве что сами горы, да и то – нечего нам с ними пока делить».

Однажды шёл он по узкой тропе над пропастью, где орлы гнездятся. А навстречу ему – старец, согбенный, как старая орешина, с посохом из цельного дуба. Тропа узка – двоим не разойтись.

- Расступись, дед. – молвил Лаго, не снижая взгляда с дальних вершин. – Сила уступает силе, а слабость уж тем более.

Старец поднял глаза.

И в тех глазах, глубоких и спокойных, как озёра в полдень, была не слабость, а тишина такая, что перед обвалом горным случается.

- Джигит, - сказал старец тихо, - силён ты, но сила без пути – как конь без узды: сокрушит и своего всадника. Уступить – легко. Но это будет уступка не тебе, джигиту сильному и ставному, а гордыне твоей. А она, сынок, приведёт тебя туда, куда даже орёл не долетит – в пропасть, в бездну.

Не внял Лаго.

Закипела в нём ярость, что посмел кто-то учить его.

- Прочь с дороги! – прогремел он и шагнул вперёд.

- Ослепила тебя собственная тень, Лаго, и, если глаз твой видит только свою силу, так тому и быть.

И коснулся посохом земли у ног джигита.

Не грохот, а тихий стон вырвался из недр. Не страх, а ледяное изумление сковало Лаго. Он почувствовал, как каменеет. Конь его, только что горячий паром исходивший, становится бледным, как лунный свет, и застывает. Увидел, как его собственная рука, лежавшая на эфесе, темнеет и тяжелеет, становясь частью скалы.

Последним, что воспринял его разум, был не гнев, а странная ясность: он стал тем, о чём думал. Неподвижной, вечной силой. Преградой.

И стал на той тропе камень, похожий на всадника и коня, слившихся в одно целое в последнем порыве.

Нарты прозвали его «Всадник-Гордыня».

И долгие годы обходили его стороной. Но не сбрасывали. Ибо мудрые говорили:

- Не трогайте. Это не просто камень. Это – зеркало. Каждый, глядя на него, пусть спросит себя: «Не веду ли и я своего коня к тому, чтобы стать немой глыбой на пути своего же народа?»

Тропа учила обходить его с величайшей осторожностью, уважая ту страшную участь. И сам камень, поросший позже мхом и цветами эдельвейса, стал не помехой, а местом памяти и меры.

Вот так, молодой княжич, сила, не знающая уважения к пути, сама становится частью пути – немой и вечной преградой, напоминанием для живых.

Сказ о слове

Давно это было, когда Правда ещё ходила по земле в своих белоснежных одеждах, а не пряталась нагая в тени, боясь показаться людям.

В высокогорном ауле, где орлы знают каждого ягнёнка по имени, доживал свой век судья по имени Туган. Не пши он был, не князь, но уважение к нему было выше всяких титулов. Пятьдесят зим и пятьдесят лет он вершил суд по адату – древнему закону гор.

И вот пришла к нему та гостья, перед которой все равны – и пастух, и пши. Пришла Смерть. Не спеша, степенно, как и полагается уважаемой женщине, вошла она в его саклю, пахнущую старыми книгами и дымом мирры.

Собралась вся родня – сыновья, дочери, внуки, правнуки. Стояли у изголовья, затаив дыхание. Ждали последнего завета, последней крупицы мудрости, которую унесёт с собой в могилу этот великий ум. Ждали слова о земле, о разделе стад, о чести рода.

Туган открыл глаза.

Глаза, потускневшие, но ещё острые, как кончик кинжала. Обвёл он тем взглядом каждого – медленно, тяжело, будто взвешивая на незримых весах всю их будущую жизнь.

Тишина в сакле стала густой, как буза.

И заговорил он. Голос был тих, сух, как шелест прошлогодних листьев, но каждое слово падало на сердца, как капля расплавленного свинца:

- Дети мои. Прошёл я долгий путь. Сидел я под древним чинаром на судейском камне. Ко мне приходили с ненавистью в очах и с кровью на руках. Я судил споры за клочок земли, который не стоил палого листа, но был оплачен кровью сотен. Я судил за украденного коня, цену которому можно измерить в серебре, но отмеряли человеческими жизнями.

Он замолк, переводя дыхание, которое стало похоже на скрип старых половиц.

- Но знайте – это были не дела о земле, конях или крови. Это были дела о словах.

Родня переглянулась:

- О словах? Каких словах?

- Одно неосторожное, злое слово, брошенное сгоряча на базарной площади. Одно колкое прозвище, прилипшее навек. Одна клевета, шепнутая на ухо, как змеиный яд. Одно хвастливое обещание, которое обернулось ложью. Из-за них рушились союзы, распадались семьи, и высыхала любовь. Из-за них затачивались кинжалы, которые потом находили путь в чужие сердца.

Он приподнялся на локте, и в его глазах вспыхнул последний, пронзительный огонь:

- Вы думаете, слово – это дым? Нет. Слово – это семя. Брось его в почву чужой души – и оно прорастёт. Растёт оно медленно, невидимо. И вырастает в камень. Камень обиды. Камень ненависти. Камень презрения. Этот камень люди носят в груди годами. Он тяжелеет. И однажды они начинают швырять эти камни друг в друга. А потом хватаются за настоящие.

Старый Туган упал на подушки, обессилев. Последние силы уходили в речь:

- Я видел, как из-за одного слова, сказанного пьяным пастухом, два рода три поколения резали друг друга. Видел, как из-за сплетни, пущенной завистливой женщиной, лучшие джигиты ложились костьми в ущелье. Слово… оно страшнее пули. Пуля убивает тело. Слово убивает правду. А без правды – нам конец.

Он собрался с духом, чтобы выговорить последнее:

- Запомните. Как бы ни был ты богат скотом, как бы ни была обширна твоя земля, как бы ни остра была твоя шашка… всё это прах перед силой Слова. Берегите Слово. Взвешивайте его на весах сердца и разума, прежде чем выпустить из уст. Ибо всё начинается со слова. Им начинается ссора. Им начинается дружба. Им начинается любовь. Им же можно всё это и закончить. И сама Смерть к слову прислушивается.

Смерть согласно кивнула и положила конец жизни Тугана, ведь сказано им было всё, что должно.

Передал судья самую свою большую мудрость детям и внукам-правнукам своим, исполнив долг свой, долг старшего перед младшими.

И настала в сакле тишина.

Помни слова старого судьи по имени Туган, молодой княжич. И да будут твои слова весомы и чисты, как горный хрусталь, и прочны, как кремень.

Сказ о трёх братьях

В те времена, когда нарты ещё пировали в своих каменных залах, жил в высокогорном ауле пши по имени Аслангери. Богатство его было велико: стада покрывали склоны, как подвижные облака, а в подземных кладовых лежали шкуры барсов и мерцало серебро.

И задумал Аслангери испытание. Созвал он старейшин и провещал на весь аул:

- Слушайте, люди! Отдам я одно из своих дорогих сокровищ тому, кто докажет, что достоин его.

Молва, быстрее горного серны, разнесла весть по ущельям.

Многие приходили – могучие нарты, лихие джигиты.

Но испытание пши было трёхглавым, как змей: «Найти то, что невидимо. Сразить то, что неуловимо. Удержать то, что неудержимо».

И все возвращались, посрамлённые.

Услыхали про это три брата из дальнего, бедного села. Старший, Джедал, зорок был умом, видел суть вещей сквозь туман и ложь. Средний, Батир, меток был рукой, его стрела не знала промаха. Младший, Каншау, силён был плечом, мог удержать сорвавшийся с кручи камень. Решили идти вместе – иначе и надежды не было.

Предстали они перед Аслангери в его сакле, где на стенах висели старые щиты.

- Пришли мы за твоим сокровищем, о пши. – сказал Джедал, выступая вперёд.

Князь, не поднимаясь с циновки, изрёк:

- Владения мои простираются до снежных вершин гор. Там, среди скал, живёт белая серна Алмаст. Десять зим никто не видел её тень. Найдите её. Когда побежит – сразите её в прыжке меж небом и бездной. И когда падёт её тело в пропасть – поймайте его, чтобы ни капли живой крови, что горячей золота, не пролилось на камни.

Братья поклонились и отправились в путь.

Вёл их Джедал. Он не к земле припадал, а читал знаки: где мох гуще на северной стороне камня, где клочок белой шерсти зацепился за колючку таволги. Он вёл их не глазами, а мыслью, как нитью через лабиринт скал.

- Она там. – указал он на узкую трещину под нависшей глыбой, чёрной, как совесть предателя. – Спит, прикрывшись собственной белизной.

Когда испуганная серна метнулась вперёд, скользя по карнизу тоньше серповидного клинка, братья замерли. Батир же, не моргнув, натянул тетиву своего старого, поющего на ветру лука. Струна взвыла, стрела свистнула – и нашла свою цель в единственном миге, когда зверь был меж скалой и пустотой.

Мёртвая серна сорвалась вниз, тяжёлая, как мешок с зерном. Младший брат, не раздумывая, бросился вдоль края пропасти, обгоняя падение, и в том месте, где ущелье сужалось, подставил свои широкие плечи и руки, впитавшие силу от вспашки каменных полей. Он принял удар, от которого содрогнулась земля, но удержал тушу, не дав ей даже коснуться острых зубьев скал.

Принесли они добычу пши.

Аслангери долго смотрел, а потом молвил:

- Испытание моё, сломило многих, но прошли вы. Вы достойны взять то, что я обещал. Но сокровище моё – едино, не разделить его на троих. Кто из вас внёс

главную лепту? Пусть он и возьмёт его.

Тут между братьями, как между тремя ручьями, встретившимися в одном ущелье, поднялся спор.

- Моя заслуга главная! – сказал Джедал. – Без глаза, что видит невидимое, вы бродили бы впотьмах, как слепые щенки!

- Нет, моя! – воскликнул Батир. – Без руки, что не дрогнет в решительный миг, ваша находка ушла бы в туман, став насмешкой!

- Оба вы говорите, не видя истины! – перебил Каншау. – Без силы, что устоит против судьбы, падающей с небес, всё ваше умение развеялось бы ветром! Я сберёг саму суть – само сокровище!

Аслангери слушал их, и мудрость, тяжёлая, как свинец, опускалась в его сердце. Он поднял руку, и в сакле воцарилась тишина.

- Спор ваш, - изрёк он, - это спор ножа, лука и щита о том, кто главнее в бою. Но разве отрубит нож без руки? Разве попадёт стрела без глаза? Разве устоит щит без земли под ногами? Вы справились не потому, что были сильны по отдельности. Вы справились потому, что были одним существом. Нельзя делить ножом то, что создано быть целым.

Он хлопнул в ладоши.

Вошли его три дочери.

Старшая, Аминет, стояла прямее всех, и взгляд её, острый и умный, обжёг каждого из братьев. Средняя, Зарема, была прекрасна, как утро в горах, но в глазах её читалась готовность к действию. Младшая, Сатаней, цвела юностью, нуждающейся в опоре.

- Пусть целое останется целым. И выдам за замуж не одно из моих сокровищ – старую из моих дочерей, а сразу трёх. – сказал пши. – Джедал, твой ум найдёт ключ к сердцу, что защищено крепче любой крепости. Аминет – твоя. Батир, твоя решимость придётся по нраву той, кто ценит отвагу выше красоты. Зарема – твоя. Каншау, твоя сила станет скалой для того, что ещё зыбко и молодо. Сатаней – твоя.

Так три брата, пришедшие за одним сокровищем, обрели каждый по судьбе.

И не было между ними больше спора, ибо поняли они, стоя перед мудрым пши: настоящее богатство – не в том, чтобы захватить сокровище, а в том, чтобы

увидеть в нём ту часть мира, которая ждала именно тебя. А сила рода, молодой княжич, - не в одном могучем дубе, а в переплетённых корнях многих деревьев, что держат склон от обвала.

Сказ о мести

Послушай, молодой княжич, сказ, что тяжелее иных.

Жил когда-то джигит по имени Каплан. Ушёл он с отрядом за Седой Перевал, туда, где реки, говорят, в раздумье меняют течение. Семь раз Смерть дышала ему в затылок – семь раз откупался он лишь ранами. И вернулся. Живой. Нёс в потрёпанном хурджине дары: матери – серебряную хасию на платье, отцу – клинок из синей булатной стали, дочурке малой, что родилась под звон его стремян, - куколку, вырезанную из арчи, и для жизни новой – монет в достатке.

Поднялся к своему аулу.

У края тропы стоял старый Хадж-Мурат. Не сказал «добро пожаловать», не обнял как брата. Схватил его так, будто хотел удержать от падения в пропасть, и прошептал голосом, сорванным в стычке с горем:

- Каплан. Дома твоего нет. Сакля – чёрный оскал пепла. Твоё солнце – мать, твоя скала – отец, твой первый цветок – дочь… их укрыла земля-мать чёрным буркой. Уснули. И виной тому люди лихие, из-за Седого Перевала пришедшие.

В тот миг свет ушёл из очей Каплана. Ясный день стал для него чернее подземелья под корнями мира. Не издал он ни звука. Не проронил слезы. Он окаменел. Простоял двое суток у пепелища, недвижим, как страж на вечном посту. Не вкусил ни крошки, не смочил губ. Только смотрел на обугленное дерево да на золу. А на третье утро, когда первые лучи позолотили вершины, растворился, как туман.

И пошёл он не дорогой, а тропой абрека, тенью, зверем.

Перешёл Седой Перевал.

Забрался в те узкие ущелья, где жил народ, с которым ещё вчера скрещивал клинки. Искал он не войска, не предводителя. Искал он зеркало. Искал саклю, что стоит меж двух ручьёв, на краю чащи, где должны жить старик, старуха и девчонка на выданье. Чтобы месть была сладкой, как яд. Чтобы их последний вопль отозвался в нём эхом того беззвучного крика, что разорвал ему душу, и мог он наконец умереть.

И нашёл.

Халупа из дикого камня.

Дымок из трубы – жидкий, прерывистый. Вошёл без стука, переступив порог, за который жизнь когда-то вышла из его дома. И вот они: перед ним – старуха с лицом, изрытым морщинами глубже, чем трещины в иссохшей земле; девочка с огромными, тёмными, как лесные озёра, глазами, полными одного лишь чистого ужаса; и старик без ног, сидящий на потертой волчьей шкуре. На дастархане – пустая деревянная пиала. Запах нищеты, что въедается в камни, запах отчаяния, знакомый ему по последним дням в родных стенах перед уходом.

- Ну, вот. – проскрежетал Каплан, и голос его был чужим, будто доносился из-под груды камней. – Пришёл поквитаться я. Хочу расплату взять за близких.

Они не ответили.

Молчали, как должно молчали его родные.

И взгляд его, скользнув по их лицам, упал на пустую пиалу. На тонкие, как прутики, пальцы девочки. На культю старика.

И тогда, в этой убогой сакле, куда он принёс только смерть, с Капланом случилось то, что сильнее любого безумия – к нему вернулся разум.

Тяжело опустился Каплан на низкую скамью у порога.

Молча стянул с плеч свой хурджин.

Скинул с ног грубые чарухи.

Не глядя, швырнул в тёмный угол свою шашку, кинжал. Звякнули они о камень и смолкли, будто устыдившись.

Достал Каплан серебряную хасию, клинок из синей булатной стали и куклу из арчи, монет в достатке – те самые дары, что нёс своим.

Положил их на дастархан.

И лишь тогда сказал:

- Я пришёл… я вернулся…

С тех пор, в том ауле за Седым Перевалом живёт Каплан, и есть у него, и отец, и мать, и дочь.

Таков мой сказ, молодой княжич, сказ о том, что истинный враг не сидит у холодного очага, не голодает и не страдает. Истинный враг – это сама Война, этот слепой, ненасытный зверь, что пожирает отцов и матерей, дочерей и сыновей по обе стороны любой реки, любой горы. Но не всем то, молодой княжич, известно. Не все то могут принять.

Сказ о мышке и коте

В одном большом ауле, что прилепился к скале, как ласточкино гнездо, жил пши по имени Арслан. Богатство его было велико: табуны его коней затмевали солнце пылью, а амбары ломились. Но славился он на весь край не щедростью, а ненасытным оком своим, что высматривало по соседним саклям девичью красоту, чтобы прибрать к рукам.

Заприметил он однажды горянку по имени Лаура. Стройна она была, как молодой кипарис, руки её знали цену труду, а во взгляде, осторожном и умном, светилась врождённая гордость тфокотля. Была она бедна, но вольна, как горный поток.

Не пристало пши самому ходить по таким делам, как простому джигиту. Послал он своего верного нукера – ловкого, вкрадчивого, с голосом мягче бархата. Звали его Шамиль, и был он похож на сытого кота: всегда в тени господина, всегда сыт, и ступал неслышно, и слова его были сладки, как перезрелый инжир.

Подкараулил Шамиль девушку у старого родника, где вода пела тихую песню. И начал мурлыкать, вылизывая каждое слово:

- О, жемчужина в простой оправе, зорко видит тебя мой господин, Арслан-пши. Приглянулась ты ему – проворна в работе, скромна в нраве, прекрасна, как утро над горами. Оставь свою тесную саклю. Иди служить в его высокий дом, под своды, где ковры шелком шиты. Будешь ты там только светлые горницы обихаживать, только тонкие ткани в руках держать. А плата тебе – целый хурджин серебра да мерка золотого песка в придачу!

Девушка остановилась, опустила глаза к воде, но ум её работал быстрее горного ручья после ливня. Подняла она ясный, как та же родниковая вода, взгляд и ответила тихо, но так твёрдо, что каждое слово звенело, как удар клинка о камень:

- Передай своему господину: мир ему. Только работа, что ты сулишь, - слишком проста и мала для такой щедрой платы. А где плата велика не по труду – там не служба, а петля для души. Нет, не пойду я.

Сказала так, поправила кувшин на плече и пошла своей тропой, оставив нукера-кота с пустыми руками.

О том, как благодаря ослиному упрямству Арслан действительно обратился ослом говорить я не буду, молодой князь, ведь этот сказ был не о упрямом пши, а о Лауре, что смогла за наградой разглядеть ловушку и тем сохранить свои честь и имя.

Сказ о вдовьем перевале

Было то в ущелье, где ветер воет, как осиротевший шакал. Жил там горец Астемир. Была у Астемира жена Залина, что светилась в их бедной сакле яснее любого очага. Любил он её, как орёл любит высь: без неё – и крылья не в радость.

Но пришла черная смерть, что сжигает человека изнутри, как сухую лозу. А до знахаря, что жил за горой – пять дней пути по тропам, где и оленю-то трудно не устоять.

Астемир нёс жену на руках, он молил горы расступиться, а время – остановиться. Не расступились. Не остановилось. Умерла Залина у него на руках, не доехав и до половины пути.

И лишился Астемир света жизни своей.

Поднял он голову к небу, чёрному от громадности скал, и не стал проклинать. Он пошёл в свою саклю, взял не шашку, не винтовку. Взял он кирку, что помнил ещё руки его деда.

Вышел к хребту.

Поднял кирку. И ударил.

День.

Месяц.

Год.

Пять лет.

Астемир дробил камень, делая проход.

Его стук, глухой и мерный, стал новым биением сердца ущелья.

И настал день, когда сама Гора не выдержала. Не из милости – из раздражения, обратилась она к Астемиру:

- Прекрати. Ты будишь то, что должно спать. Оставь свой бессмысленный труд. Уйди. А я, так и быть, дам тебе награду за упорство твоё. Дам долину, где текут молочные реки. Дам дворец из белого мрамора, где прохлада будет царить даже в полдень. Я наполю дворец тот красивейшими из женщин. Ты забудешь там о своих печалях и труде этом бессмысленном. Ты будешь там жить, как пши, и скорбь твоя растает, как утренний туман.

Астемир опустил инструменты и обернулся, посмотрел на плоды своих многолетних трудов, на зияющую, грубую, рану в теле Горы. На груду щебня у своих ног. На кирку, что была уже не орудием, а продолжением его самого.

И ответил:

- Ты предлагаешь не дворец и избавление от скорби, ты предлагаешь мне забыть. Забыть о моей Залине и всех тех, кто подобно ей умрут, потому что на пути к их спасению стоит гора, поэтому я не остановлюсь. Я умру, здесь, в пыли, с горем в сердце, но после меня останется проход в горе. И каждый будет знать – даже гора может покориться воле человека.

Гора ничего не ответила.

Астемир поднял кирку.

И ударил снова.

Астемир пробил тот проход в горе.

Так и случилось, молодой княжич.

Не всякий подвиг – в том, чтобы обагрить клинок кровью, как не всякая награда – это дворец.

Иногда подвиг в том, чтобы построить дорогу для других, для будущего. Построить даже если самому по ней не суждено будет пройти.

Сказ о настоящей любви

Жил в ауле джигит по имени Саид. И была у него любовь – Умаймат. Не просто красавица. Красота её была таковой, что, говорят, соловьи, заслышав её голос у родника, на неделю теряли дар песни от зависти.

Собрался Саид на базар в чужеземный город, за товаром.

- Привезу тебе подарок, - сказал он, - достойный тебя.

Искал он долго, пока взгляд его не упал в тёмной лавке старого мастера-ювелира, человека с глазами, как две щели в скале. Лежало там в бархате кольцо. Не золотое, не усыпанное самоцветами. Серебряное, простое. Но камень в нём был будто не из земли, а украден у самого неба: прозрачный, с глубиной, в которой играл отсвет звёзд.

Саид купил, не торгуясь.

Путь домой был для него одним долгим счастливым дыханьем.

Да не удержался, достал из-за пазухи подарок, поднял навстречу солнцу… И в тот миг ветер-шалун, что вечно резвится в тех местах, свистнул, вырвал серебряный ободок из пальцев. Блеснуло кольцо в воздухе, как слеза, упало в белую кипень у подножия скалы, мелькнуло один раз среди чёрных камней – и скрылось.

Искал Саид до темноты.

Переворачивал камни, руки ободрал в кровь.

Нашёл только стыд и пустоту в груди.

Вернулся в аул.

Стоял перед Умаймат, не смея глаз поднять, сжимая в кулаке несуществующий подарок. А она… она не вздохнула, не нахмурилась. Она взяла его натруженные, пустые ладони в свои и обвела их тёплым взглядом.

- Саид, - сказала она тихо, - ты привёз мне лучшее, что мог. Ты привёз честное слово и целое сердце. Разве можно купить это на базаре? Кольцо было лишь знаком. А знак – он и в сердце живёт.

Так и пошли они по жизни рука об руку. Вырастили детей, внуков.

Время, этот неутомимый пастух, погнал по их лицам стада морщин, посеребрил виски. О кольце и думать забыли. Оно осталось там, на перевале.

Но есть у вещей, выкованных с чистым намерением, своя душа. И своя судьба.

Прошло сорок зим.

А может, и все пятьдесят.

Ехал уже седой Саид да становился напоить скакуна.

И вдруг, сквозь шум воды, будто тихий зов, мелькнул в его глазах знакомый отсвет. Не блеск. Напоминание. Лежало меж гладкой гальки что-то белое, чистое, будто только что упавшее. Он нагнулся, кости затрещали.

Поднял.

Кольцо.

Его кольцо.

Сорок лет вода его носила, песок скоблил, мороз сковывал, солнце жгло. Оно должно было истлеть, раскрошиться, раствориться. Но нет. Вода не состарила его. Вода очистила. Серебро стало матовым, благородным, как лицо старого мудреца. А тот камень, капля небес, сиял теперь из глубины сокровенным, накопленным за десятилетия светом. Он вобрал в себя шум водопада, крики орлов и теперь отдавал этот свет тому, кто его ждал.

Саид поднял не украшение. Он поднял свою молодость, свою первую клятву, тот самый миг на перевале, когда мир был прост и ясен. Он поднял время, которое оказалось не врагом, а союзником.

Привёз он кольцо домой.

Ничего не говоря, протянул Умаймат. Та, теперь тоже седая, с руками, изборождёнными трудами, взяла его. Помолчала, глядя на него, будто видя в нём всю их совместную жизнь. И надела. На тот самый палец, который ждал его полвека.

И случилось чудо.

Морщины исчезли, седина почернела. Тяжесть лет спала с них.

Стали Саид и жена его Умаймат молоды, как были когда-то.

Вот таков мой сказ, молодой княжич.

Есть на свете вещи, которые время не точит.

Первая любовь, взятая не для забавы, а на всю жизнь.

Честное слово.

Они, как это кольцо, - если они подлинны, то года лишь смоют с них шелуху суеты, отполируют до истинного, вечного блеска.

Сказ о настоящих друзьях

Жил, молодой княжич, в одном из горных аулов джигит Хасан, удалой да весёлый. Полюбилась ему девушка из соседнего ущелья, и дали добро старейшины. Закипели приготовления к свадьбе.

Пришёл Хасан к отцу своему, Джамбулату, человеку, чья борода была седа от мудрости, а не от одного возраста.

- Пир будет на весь край! Пусть все мои друзья, все, с кем я кумыс пил и на джигитовке скакал, разделят мою радость! Пошли гонцов, пусть зовут!

Посмотрел на него Джамбулат, глаза прищурил, в которых прятались все хитрости адата и все уловки жизни.

- Хорошо, сынок. – сказал спокойно отец. – Созовём твоих друзей.

Не стал он писать приглашения с узорами. Не стал кричать на площадь. Он взял семь своих самых верных, быстрых нукеров и дал каждому наказ. И разъехались те гонцы по семи дорогам в семь разных ущелий.

Но везли они не весть о пире.

Весть была иная, суровая, как кремень: «Слушайте, друзья Хасана! Беда пришла. Род Хаджиев из-за перевала задумал сорвать свадьбу, невесту силой отнять. Хасан зовёт на подмогу! Кто друг – тот будет с шашкой наголо, с первыми лучами солнца. Ждём не гостей, а братьев по оружию».

Настало утро.

Заря ещё только розовыми пальцами трогала вершины. Вышел Хасан во двор – сердце замерло.

Не шумной толпы, не песен не услышал он.

У ворот, в холодном предрассветном сумраке, стояли семь всадников. Коней взмылили, сами в полной боевой сбруе, лица напряжены, руки на эфесах. Дышат

паром, ждут приказа. Никто больше.

Подошёл Хасан, горечь в горле встала:

- Где же остальные? Где Магомет, с которым я десять зим овец вместе пас? Где Руслан, с которым на медведя ходили? Где все те, кого я другом звал, с кем кумыс пил и на джигитовке скакал?

Тут вышел Джамбулат. Медленно, опираясь на посох. Обвёл взглядом этих семерых – запылённых, серьёзных, настоящих. Положил руку на плечо сына, и голос его прозвучал тихо, как шепчут камни на вершинах самых высоких из гор:

- Не печалься, Хасан. Не о свадьбе я весть послал, а о бое предстоящем, тяжком и жестоком. Вот и явились лишь те, кто действительно твоими друзьями является. Остальные, кто не пришёл на зов о помощи, когда думал, что тебе грозит смертельная беда, - тот и на пиру тебе не друг. Он – просто знакомый. Сосед. Друг – это тот, чьё плечо ты чувствуешь за своей спиной не только в пляске, но и в драке. Вот они – твои плечи. Семь – число крепкое. Такие сотни стоят.

Стоял Хасан, смотрел на этих семерых мужей, что бросили свои дома, поверили вести и примчались, готовые за него кровь пролить. И понял он. Понял всей душой. Горечь сменилась такой тёплой, крепкой благодарностью, что сильнее любой радости.

И свадьба его была не просто весёлой. Она была настоящей. Потому что пировал он не с толпой, а с братьями. С теми, кому мог в глаза смотреть, не опуская взгляд. С теми, чью клятву и чью помощь он отныне знал, как знал линии на своей собственной ладони.

Не даром в горах говорят: «Не зови друга на пир – зови на дело. Тот, кто пришёл на дело, достоин и пира. А тот, кто пришёл только на пир, - не всегда достоин даже места за твоим очагом».

Вот тебе и весь сказ, молодой княжич.

Вот и весь сказ.

Сказ о человеке, который сам всего добился

Жил в горном ауле, зажатом меж двух хребтов, торговец по имени Алибек. Говорили, что не было в тех местах человека удачливей и сметливей. Караваны его, словно ручьи, текли по торговым тропам, неся шелка, пряности и звонкую

монету. Сундуки его ломились от золота, а слава о его оборотистом уме летела быстрее горного ветра.

Но вот однажды, когда первые жёлтые листья поплыли вниз по ущелью, на сердце Алибека села чёрная птица тоски. Сидел он на аиване своего белокаменного дома, смотрел на свои владения, а в душе скреблось:

- Всё это… пыль. Вся жизнь – как на базаре: выторговал, перепродал, обманул, чтобы не обманули. Родился я в старой сакле, где дым от очага ел глаза, а отец мой, честный пастух, считал богатством – выжить зиму. Будь у меня с пелёнок то, что есть у меня сейчас… о, тогда! Тогда бы не торговал я, а правил. Не аулом – ханством! Ибо ум мой остёр, а воля – тверже гранита. Вся беда, вся несправедливость, что поднимался я с самого дна, и каждый шаг в гору стоил мне крови. Какая уж тут слава, какое величие, если к сединам я получить сумел, что иные с рождения имеют?

Говорил он это в пустоту, а рядом, в тени виноградной лозы, сидела жена его, Зарима. Пряла она шерсть, и веретено в её руках вращалось с тихим, мудрым жужжанием. Руки её знали цену и тонкой нити, и грубому ковру. Не поднимая глаз, она сказала голосом, тихим, но резавшим, как хорошо отточенный ятаган:

- Алибек, свет моих очей. Ты смотришь на вершину и видишь только то, чего нет. А ты посмотри под ноги. На тропу.

Он обернулся, нахмурив седые брови:

- Какую ещё тропу? Я о судьбе говорю!

Зарима положила веретено. Подняла на него глаза – глубокие, спокойные, видевшие и его первую палатку на базаре, и первые слёзы от неудачи:

- Тот, кем ты хочешь родиться – богатым наследником, баловнем судьбы – он уже был. И не раз. Абдулла, у которого ты, мальчишкой, мыл котлы. Его отец был богат, владел половиной пастбищ. А сам Абдулла промотал наследство на скачках и женщинах. Ты купил у него первый свой тюк дешёвой шерсти в долг, который он так и не вспомнил. Ты помнишь юного Ислама, сына кадия? Он родился в почёте. Ты бился с ним за право поставить лавку на площади. Он полагался на имя отца, а ты – на упрямство и смекалку. Чья лавка стоит там теперь? Твоя. Где теперь Илам? Где все те, кто родился на той вершине, куда ты так жадно смотришь? Родись ты среди них – стал бы одним из них. Ты стал бы Абдуллой-мотом. Стал бы Иламом-неудачником. А может, и хуже – изнеженным князьком, чью волю сломала бы первая же неудача.

Она помолчала, давая словам впитаться, как дождю в иссохшую землю:

- Твоя сила, Алибек, в том, чего у тебя не было и в том, что это тебе дало. Ты не занял чужое место. Ты выдолбил своё в скале жизни. И знай: тому, кто родился в золочёной колыбели, мир не покорить. Он для него с пелёнок – данность, пресный, как несолёная каша. А вот мир непокорённый, дикий и суровый, покоряется только тому, кто знает цену каждому выдолбленному в камне уступу, каждой заработанной монете. Твой трон – не золотое кресло, переданное тебе твоим родителем. Твой трон – это вся тропа, что за твоей спиной, это ты сам. И поэтому сидишь ты на нём прочнее любого хана, ибо этот трон из тебя самого и вырос.

Умолкла Зарима.

И по лицу Алибека, суровому и усталому, поползла тихая улыбка обретенного покоя. Чёрная птица тоски вспорхнула и улетела, не оставив и пера.

- Спасибо, Зарима. – сказал он просто. – Ты – мой самый честный казначей. Ты сосчитала моё истинное богатство.

Мудрость в том, чтобы оглянуться и увидеть, что твой главный капитал, твоя слава и твоя крепость – это не то, что тебе дали, а то, что ты сам, своими руками и волей, возвёл на голом камне. И это построенное – не отнять, не купить и не променять. Оно – навсегда твоё, ведь оно и есть ты.

Таков мой тебе сказ, молодой княжич.

Дорога, как и сказы, подошли к концу.

Притихли и братья Ветра – боялись не услышать последние слова, что спутники готовились сказать молодому княжичу.

Мальчик не плакал, даже понимая, что дальше смертным нет хода.

Дальше, в Небеса, что касаются своей рукой почти осыпавшейся башни, ему идти одному, и всё, что он может с собой унести – лишь слова.

- Молодой княжич, - негромко сказал дед Свирид, - ты постарайся не забыть наши сказы. Постарайся не забыть, даже если предстоит стать богом.

Умар-эфенди медленно, торжественно добавил, и его голос прозвучал как эхо, рождённое в самой глубине мира:

- Особенно если предстоит стать богом, молодой княжич. Особенно если предстоит стать богом.

Княжич не ответил.

Он кивнул.

Коротко, по-мальчишечьи.

Потом развернулся и пошёл по дороге, что вела в Небеса.

Так человек становился богом.

Внизу два старика долго смотрели вверх, молча прощаясь со своим молодым княжичем.

- Пойдём, брат. – сказал наконец дед Свирид. – Наше дело сделано.

- Сделано. – согласился Умар-эфенди.

И два старика пошли к догорающему костру, к людям, что их ждали и с которыми им предстояла ещё одна дорога – дорога домой.

А братья Ветра уже летели по Миру, готовясь рассказать всем, кто готов слушать сказ о том, как человек взошёл на Небеса и стал богом.

с которыми им предстояла ещё одна дорога – дорога домой.

А братья Ветра уже летели по Миру, готовясь рассказать всем, кто готов слушать сказ о том, как человек взошёл на Небеса и стал богом.